

СУДЕБНЫЙ СЛУЧАЙ

ВОПРОСЫ ПРАВА
В КЛАССИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ



Сборник

**Судебный случай. Вопросы
права в классической литературе**

Издательский дом «Городец»

Сборник

Судебный случай. Вопросы права в классической литературе /
Сборник — Издательский дом «Городец»,

ISBN 978-5-907982-71-0

Мораль, этика и право часто служили основой для глубоких художественных обобщений в литературном творчестве, отражая сложную, противоречивую действительность общества. Уникальные истории классической литературы, представленные в этом сборнике, позволяют изучить различные стороны права и юридической практики, помогают лучше понять мотивы противоправных действий, пороки и недостатки правосудия, призванного блюсти закон и охранять справедливость, в преломлении к судьбам персонажей литературных произведений.

ISBN 978-5-907982-71-0

© Сборник
© Издательский дом «Городец»

Содержание

Предисловие	7
Анатолий Кони	14
Лев Толстой	27
Антон Чехов	32
Ночь перед судом	32
Суд	39
Злоумышленник	43
Шведская спичка	48
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Судебный случай

Вопросы права в классической литературе

Мораль, этика и право часто служили основой для глубоких художественных обобщений в литературном творчестве, отражая сложную, противоречивую действительность общества. Уникальные истории классической литературы, представленные в этом сборнике, позволяют изучить различные стороны права и юридической практики, помогают лучше понять мотивы противоправных действий, пороки и недостатки правосудия, призванного блюсти закон и охранять справедливость, в преломлении к судьбам персонажей литературных произведений.

© Д. И. Дедов, Д. Г. Шустров, предисловие, 2026

© В. Денисова, иллюстрации, обложка, 2026

© ИД «Городец», 2026

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

@ Электронная версия книги подготовлена ИД «Городец» (<https://gorodets.ru/>)



Предисловие

Право и литература: литература в праве и право в литературе

Дорогие читатели! Перед вами прекрасная книга «Судебный случай. Вопросы права в классической литературе», которая представляет собой сборник небольших рассказов или частей более внушительных произведений, есть в нем даже басни, а также поэзия. Эта прекрасно изданная книга способна не только украсить самую шикарную книжную полку, заинтересовать всякого книгочея, литературного педанта, книжного эстета или страстного любителя детективных сюжетов в литературе, но и скрасить быт самого настоящего профессионального юриста, которому требуются художественные впечатления, чтобы отвлечь его от тяжелых процессов или вдохновить на новые свершения во благо Юстиции. Нельзя представить себе не только полноценной жизни человека, но даже полноты образования юриста, который бы игнорировал хорошую литературу, обделяя себя одним из самых дорогих богатств, которые создало человечество, – художественным словом, живым и действующим!

Несмотря на разные профессиональные области, право и литература тесно связаны друг с другом. Вполне уместно говорить о влиянии литературы на право и об обратном воздействии права на литературу. Это происходит потому, что искусство по своей природе гуманистично, оно сосредоточено на человеке, каким бы противоречивым не было человеческое существование: на его достоинстве и нравственной чистоте, на его страданиях, метафизических переживаниях и угрызениях совести, на его пороках и недостатках, стремлении к счастью, на субъективном представлении о реальных обстоятельствах жизни и, наконец, на величии его разума. «Человек – это звучит гордо» (М. Горький). Именно через литературу человеческие конфликты достигают высшего напряжения, «оцифровываются» и превращаются в правовые ценности и принципы. Литературе Просвещения, книгам Данте, Руссо и Вольтера мы обязаны рождению, правовому оформлению и официальному признанию концепции основных прав и свобод человека. Замятину, Оруэллу, Рэнд, Стругацким и другим авторам антиутопий мы признательны за то, что они показали, насколько губительным для любого человека является тоталитаризм, как он убивает все человеческое в тех, кто подчиняет и кто подчиняется.

В свою очередь, насколько же бедной была бы литература без юридических сюжетов, положенных в ее основу или формирующих важные сюжетные линии? Можно ли представить себе полноценный остросюжетный детектив без убийств и прочих преступлений, а также без искусного маэстро следователя, распутывающего клубок доказательств, причин, тайн и обстоятельств, связанных с этими преступлениями? Существуют ли романы, написанные великими авторами, которые бы не ставили философско-правовых проблем добра и зла, права и морали, справедливости, свободы и ответственности, властителя и подвластных, влиятельных и угнетенных и т. д.? Разве нельзя встретить практически в любом рассказе бытовую сценку, связанную с правом, судом, карательными органами или юристами?

Все это в избытке присутствует в истории мировой литературы! Разумеется, без права литература была бы скучна, скудна, серьезно обделена животрепещущими сюжетами, нередко ставящими на кон человеческую жизнь или судьбу, в ней не было бы накала бушующих страстей, сталкивающих людей друг с другом, в ней отсутствовала бы энциклопедия человеческих отношений, содержащих советы по взаимодействию с ближними, наконец, у литературы исчез бы постоянный объект критики и поиска совершенства и идеала – право!

Казалось бы, что может быть общего между правом, принадлежащим к сфере должного, и литературой, описывающей сущее или выражающей самые смелые фантазии писателя? Прежде всего, это само СЛОВО! И право, и литература работают со словом и текстом. Если в лите-

ратуре слово и текст выражают мысль, передают идею, формируют настроение, воспитывают вкус, заставляют переживать, то в праве слово и текст выражают норматив, передают веление, формируют правосознание, воспитывают законопослушное поведение, заставляют соблюдать право. Право с помощью норм, сформулированных на основе слов и знаков препинания, формулирует общеобязательные веления, адресованные неограниченному кругу лиц, направленные на установление, изменение, прекращение прав, свобод, обязанностей, полномочий и правоотношений. Таким образом, слово является точкой соприкосновения права и литературы и стоит в начале их формирования и познания.

Более того, в юриспруденции существуют реалистические научные школы, которые отрицают за предложениями, сформулированными в текстах законов, нормативный характер, уподобляя их всего лишь правовым предложениям, то есть простой литературе о праве, юридическому тексту, который получает обязательность только в результате акта судебного правоприменения. Получается, что законодатели ничем не отличаются от писателей, за тем лишь исключением, что стиль первых не такой высокий, да и сюжет не такой увлекательный, как у вторых.

Очень часто искусства, верно служащие добру и правде, – а право и литература несомненно относятся к их числу, – имеют очень много общего, особенно в части высоких гуманистических идеалов. Разумеется, мы не берем в расчет антигуманистическое право авторитарных и тоталитарных государств, как, впрочем, и человеконенавистническую, деструктивную, фундаменталистскую литературу. Наши идеалы – правовой закон, справедливое право, демократическое правление и гуманистическая литература, служащие формированию свободного человека. И вот такие идеальные право и литература имеют общую цель – совершенствовать людей. Только средства у них разные. Литература совершенствует общество посредством формирования этики, воспитания морали, определения эталона нравственности на основе сюжетов, находящих отклик в сердце человека, то есть с помощью воспитания. Тогда как право – это та же возведенная в закон мораль, но находящая отклик в людском сердце более эффективным способом – с помощью общеобязательных правил поведения, нарушение которых влечет ответственность и иные механизмы государственного принуждения.

«Вода камень точит», – гласит народная мудрость. Нередко именно литература изменяла право, пусть медленно и не так результативно, как это делает властное веление, но художественное слово оказывало определенное влияние на правопонимание и даже сами нормы права. Достаточно вспомнить произведения классиков отечественной литературы XIX – начала XX в., которые заложили высокие идеалы гуманизма и справедливости в образ мышления русского человека. Убежден, что юрист, однажды осиливший высочайшую философию права «Братьев Карамазовых» или «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского, увидевший убожество полицейского государства в ехидных рассказах М.Е. Салтыкова-Щедрина, укачавшийся от смеха под «Двенадцать стульев» или «Золотого тельца» И. Ильфа и Е. Петрова, не сможет пройти мимо слезинки хотя бы одного ребенка, будет способен находить справедливый баланс между дрожью твари и обладанием правом, с отважностью отреагирует на злоупотребления сильных, а нередко и глупых мира сего, будет страстно хотеть не какой-нибудь там севрюжины с хреном, а настоящей Конституции, будет по-настоящему чтить Уголовный кодекс и с юмором относиться к жизненным перипетиям.

Юристы, особенно облеченные в должность, довольно часто являются на публике сдержанными и застегнутыми на все пуговицы своего костюма или мантии, поэтому литература очень редко публично проявляется в официальных юридических документах и позициях. А вот в своих устных речах политики, а также юристы, не занимающие публичных должностей, готовы цитировать литературу, прибегать к литературным приемам в попытках заполучить чаемый результат. К цитированию хорошей художественной литературы прибегали и даже ныне, – когда общий уровень эрудиции серьезно упал, – прибегают солидные адвокаты, стремя-

щиеся ярким словом дополнить силу стройных юридических аргументов. Многие дореволюционные адвокаты увлекались литературой, состояли в дружбе с великими писателями, писали критические статьи на их произведения и сами занимались художественным литературным творчеством.

Российские судьи, как и многие судьи в мире, никогда не обращаются к литературе, ибо не принято, нет времени, да и обстановка не позволяет. В этой связи можно процитировать замечательное произведение Оноре де Бальзака «Дело об опеке», входящее в состав данного сборника и повествующее о буднях простых французских судей: «Сидя в четырех стенах тесных, убогих по своей архитектуре комнат, в спертом воздухе, парижский судья невольно хмурится, лицо его искажается от напряженного внимания, сереет от скуки, бледнеет, приобретает зеленоватый или землистый оттенок, в зависимости от природы каждого. Словом, через известный срок самый цветущий молодой человек превращается в равнодушную “машину для рассмотрения дел”, в механизм, с безразличием часового маятника приспособляющий свод законов ко всем случаям судебной практики». Не поспоришь! С нами согласится каждый судья в том, что поток дел может утомить любого, даже самого одержимого справедливостью человека. Накопившаяся за много лет усталость приводит к тому, что замыливается глаз, а душа и разум могут задремать в самый неподходящий момент. Поэтому судья должен постоянно поддерживать себя в тонусе, чтобы сохранить способность за короткое время вникнуть в дело и понять основную проблему. Но бывают ситуации намного хуже. Л.Н. Толстой в своем юридическом романе «Воскресение» беспощадно обрушивается на судей от низших инстанций до Сената, показывая их в лучшем случае безразличными людьми, формально выполняющими свои функции, а в худшем – людьми, заботящимися лишь о том, чтобы затевать интриги и пускать шпильки в адрес коллег при любом удобном случае или с помощью высокопарных слов «блеснуть ученостью» при полном ее отсутствии (Сковородников, «толстый, грузный, рябой человек, ученый юрист»). Обычно вначале они «ставят своей целью служить людям», а затем, достигая цели своей карьеры, считают достаточным получать «удовольствие видеть себя в зеркале в шитом золотом мундире» (Селенин, «человек с очень темным цветом лица и черными грустными глазами»).

Однако не везде в мире и не во всех государственных судах происходит так. Например, в американских судах свободный стиль изложения судебного решения позволяет немного разрядить накаленную атмосферу процесса и вставить в официальный текст цитату из классического художественного произведения. Однако это все равно является отклонением от общей нормы поведения.

В России приятным исключением до недавнего времени были особые мнения и мнения судей Конституционного суда РФ, в которых юристы с общепризнанной репутацией в области права отводили душу, оставшись в меньшинстве по итоговому выводу или будучи не поддержаны по отдельным вопросам аргументации. Стоит упомянуть потрясающие по красоте слога и остроте юридических аргументов тексты судей А.Л. Кононова, В.Г. Ярославцева, К.В. Арановского, больше напоминающие образцы ораторского искусства или увлекательные рассказы, чем скучные меморандумы. Более того, эти судьи позволяли себе даже ссылаться на художественную литературу, чтобы сделать аргумент более образным. Это яркие примеры того, как особые мнения и мнения судей могут быть убедительнее, ярче и интереснее решения самого Конституционного суда РФ. И дело не столько в заигрываниях с публикой красотой слога, сколько в силе правды аргументов. Жаль, что особые мнения и мнения судей не подлежат ныне обнародованию, ведь этот институт гарантировал не только статус самого судьи, делал процедуру более открытой и интересной, но и подарил российской юриспруденции литературные и научные шедевры, которые будут изучаться последующими поколениями в качестве примера того, как можно и нужно писать юридический текст.

На протяжении истории очень часто литературе от права серьезно доставалось, благодаря чему она сполна узнала, что такое сила недемократического государственного принуждения. Государства с помощью своих норм нередко определяли хорошую и плохую, правильную и неправильную, полезную и опасную, передовую и отсталую и т. п. литературу. Произведения, которые официально квалифицировались в качестве плохих, неправильных, опасных, отсталых и т. п., погружали в забвение спецхранов, изымали из оборота, уничтожали и даже публично сжигали на площади, ну а их авторов ждали тюремные застенки, психбольницы, высылка из родной страны или летальный исход. Свобода творчества и выражения мнений в демократическом государстве имеет объективные пределы и требует ограничений, однако предполагает терпимость, сдержанность, уважение и способность увидеть в инаковости произведения отражение плюрализма общества.

Сборник «Судебный случай» составлен с огромным знанием, шикарным вкусом и несомненной любовью к русской и зарубежной литературе. Смеем утверждать, что в представленных произведениях нашли отражение все отрасли права, все юридические науки, все виды практической юридической деятельности, поэтому вся кухня юриспруденции, все кулуары здания права, все тайны нашей профессии отразились в этой книге в красивом и интересном литературном обрамлении. Остановимся всего лишь на нескольких примерах.

Лев Николаевич Толстой предстает перед читателем в роли глыбы философии права. В приводимом в книге письме студенту-юристу литературный гигант на нескольких страницах отражает научные споры, которым посвящены огромные тома научной юридической литературы, и отвечает на главный вопрос философии права: что такое право? «По общему всем людям здравому смыслу», великий русский писатель дает такой ответ: «правом в действительности называется для людей, имеющих власть, разрешение, даваемое ими самим себе, заставлять людей, над которыми они имеют власть, делать то, что им – властвующим, выгодно, для подвластных же правом называется разрешение делать все то, что им не запрещено». Исходя из такого понимания, «право есть не что иное, как только самое грубое оправдание тех насилий, которые совершаются одними людьми над другими».

Л.Н. Толстой, имевший негативный для него опыт юридического образования, выносит приговор юридическому образованию и науке права в целом: «и тысячи и тысячи молодых людей старательно изучают все эти глупости – еще не беда бы была, если бы только глупости, но гадости, на которых строится этот грубый и губительный обман, и большие миллионы простых людей, доверяя тому, что им внушают “ученые”, безропотно подчиняются той неестественной подавленной жизни, которая слагается для них вследствие этого проповедуемого и признаваемого “учеными” людьми обмана», «болтовня ученых имеет целью уклонение от решения трудных вопросов, болтовня эта, как это происходит при болтовне о “праве”, имеет часто еще самую определенную безнравственную цель – оправдание существующего зла».

Л.Н. Толстой полагал, что право не способно выполнять воспитательную функцию, не имеет этического значения, а «в суеверии и обмане “права” нет ничего, кроме самого гадкого мошенничества, желания не только скрыть от людей сознаваемую всеми нравственно-религиозную истину, но извратить ее, выдать за истину самые жестокие и противные нравственности поступки: грабежи, насилия, убийства».

Альтернативой праву великий писатель видел высший нравственный закон – самый простой и доступный всякому человеку, который состоит в том, чтобы «любить ближнего, как самого себя, и потому не делать другому того, чего не хочешь себе». А в том, что этот закон не соблюдают, опять же виноваты юристы: «если бы не те коварные и зловерные усилия, которые делали и делают богословы и правоведы для того, чтобы скрыть этот закон от людей, закон этот уже давно был бы усвоен огромным большинством людей, и нравственность людей нашего времени не стояла бы на такой низкой степени, на которой она стоит теперь».

Каждый юрист увидит в суровых строках Л.Н. Толстого дискуссии о праве и морали, о понятии права, о праве и государстве, о принудительной силе права. Разумеется, на каждый из этих вопросов существует целая палитра ответов с точки зрения разных научных юридических школ. Юристы вольны занимать ту или иную позицию в этой дискуссии, соглашаться и, скорее всего, не соглашаться с классиком, однако аргументы писателя никого не оставят равнодушными. Великий писатель имел право на свое мнение, называя науку о праве, «в сущности величайшей чепухой» (и этим он, несомненно, обидел нашего уважаемого коллегу Л.И. Петражицкого), но мы считаем себя людьми учеными и надеемся, что правовая наука оправдала ожидания Льва Николаевича и сделала мир лучше, вместе с литературой генерируя смыслы, выходящие далеко за пределы циркуляров, где зло называется злом, а добро называется добром, и никак иначе. Наука еще занимается закономерностями, о которых писатель мог бы и сам догадаться: власть несовместима с разумом и человечностью и преследует свои собственные цели, которые правовая наука может преодолеть лишь с помощью общественного мнения, пройдя через кризис и потери.

У Льва Николаевича Толстого, кстати, это основная линия мысли в романе «Война и мир», воплощенная во многих героях, темная сторона которых перевешивает. На светлой стороне один фельдмаршал Кутузов, который уклонялся от кровопролитных сражений в начале войны, а потом не хотел переступать границы России и идти до Парижа, чтобы сохранить жизни солдат. На темной стороне их много: Наполеон («Какая прекрасная смерть!»), погубивший половину Европы; Андрей Волконский, погубивший половину своего полка, стоя под обстрелом и не тронувшись с места; император, желавший унижения Бонапарта в столице Франции и лично возглавивший заграничный поход. Часто гениальные писатели (сейчас это чаще относится к кино) рожают смыслы и выражают своими произведениями гениальные идеи подсознательно, понять их и рационализировать дано далеко не всем, а правовая наука учит именно этому. Поэтому мы выступаем за союз права и литературы, которые дополняют друг друга.

Еще один пример. В книге приводится прекрасный рассказ Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг», который может выступать пособием по криминалистической тактике осмотра места происшествия и проведения допроса, теории доказывания и психологии юридического общения. Умелый следователь раскрывает запутанное дело, которое было просто обречено на нераскрытие. А убийцей оказывается... рыжий орангутанг!

Есть и контрпример – увлекательный рассказ Антона Павловича Чехова «Шведская спичка», повествующий о том, каким следователь не должен быть, как не должен осуществлять уголовно-процессуальные действия, как нельзя относиться к своему делу, к каким неудобным последствиям и стыду может привести необразованность в юридической профессии, несдержанность фантазий и презумпция виновности всякого встречного, сколько жизней и судеб такой неуч может разрушить. Отлично, что все в итоге обошлось легким курьезом!

Есть в книге изумительный пример русского дореволюционного государственного права, показывающий неприживчивость западной модели государственного и муниципального управления, основанной на свободе, инициативе, расчете, порядке и результате. В творении Николая Семеновича Лескова «Язвительный. Рассказ чиновника особых поручений» повествуется об особом пути нашего публичного права, которое долгое время с трудом воспринимало конструкции западного конституционализма по причине отсутствия опыта свободного государственного управления. Эти новшества настолько претили душам простых русских мужиков, что они выбрали идти на каторгу, но не принять иноземного управленца с диковинными разумными порядками!

Наконец, приведу последний пример, чтобы убедить читателя в юридической энциклопедичности сборника «Судебный случай». В рассказе Оноре де Бальзака «Дело об опеке» содержится эталонный анализ дела о признании лица недееспособным. Только оцените про-

нищательность писателя, который в свое время четко сформулировал гарантии современной справедливой судебной процедуры при признании лица недееспособным:

«— Да это сумасшедший! – воскликнул Бьяншон.

– Ты так полагаешь? – переспросил судья. – Надо поговорить с ним самим. Кто слышал только припев, тот еще не знает песни».

Российскому правопорядку потребовались десятилетия, чтобы понять значимость этой гарантии и отразить в своем правопорядке. Лишь после постановления Европейского суда по правам человека по делу Штукатурова и последовавших за ним постановлений и определений Конституционного суда РФ в российском праве появилось осознание, что суд не может принимать решения о недееспособности исключительно по медицинским документам, не вступив в контакт с лицом, вопрос о недееспособности которого он рассматривает.

Приведенных примеров достаточно, чтобы заинтересоваться сборником «Судебный случай», а больше права в литературе можно найти на последующих страницах этой замечательной книги, которая, уверены, станет приятной отдушиной в череде юридических будней любого профессионального или пока только обучающегося юриста, продемонстрирует читателю простую истину, что юристы никакие не небожители, властелины, снобы и педанты, а обычные люди, со своими страстями, фобиями, пороками, но и несомненными достоинствами, честью и безграничной любовью к своему призванию и главному делу жизни – ПРАВУ!

*Дмитрий Иванович Дедов,
профессор кафедры конституционного
и муниципального права юридического
факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, доцент,
лауреат премии имени И.И. Шувалова.
Дмитрий Германович Шустров,
профессор кафедры конституционного
и муниципального права юридического
факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, доцент,
лауреат премии имени И.И. Шувалова.*



Анатолий Кони Федор Михайлович Достоевский

Я просил нашего председателя разрешить мне выйти из пределов программы сегодняшнего заседания Юридического общества, чтобы сказать несколько слов в память человека, пред гробом которого в эти последние дни пролито столько искренних слез и чей прах был предметом такого величавого выражения скорби. Я не опасаюсь, что меня спросят: «Какое отношение может иметь *Федор Михайлович Достоевский* к собранию юристов?» – и не думаю поэтому, что слово мое будет сочтено неуместным... Слово о великом художнике, который умел властно и глубоко затрагивать затаенные и нередко подолгу молчаливые струны сердца, не может быть неуместным в среде деятелей, посвятивших себя изучению норм, отражающих на себе душевную потребность людей в справедливости и искание наилучшего ее осуществления. Наше общество не должно составлять замкнутую корпорацию, чуждую всему выходящему из пределов узкой специальности, – мы соединились здесь не с тем, чтобы, уединившись от жизни и тщательно закрыв уши на шум и вечное движение волн живой действительности, толковать лишь о наших технических вопросах. Те темы, которые мы разрабатываем за последнее время, те вопросы, о которых говорят некоторые из нас пред вами, служили бы лучшим опровержением противоположного взгляда, если бы он мог найти себе место между нами... И когда за стенами нашего собрания происходит явление, возбуждающее общее внимание и скорбь, когда после обильной трудом и душевными тревогами жизни закрывает глаза человек, подходивший к вопросам, составляющим нашу специальность, со своей собственной, особой, оригинальной художественно-психологической стороны, – мы имеем право – нет! более, чем право, – мы обязаны помянуть его и хоть в немногих словах вспомнить, как относился он к этим вопросам.

Три вопроса, неравных по объему, но равносильных по значению, возникают пред человеком, который, познакомясь в теории с уголовным правом, впервые касается на практике обширной и темной области действий, называемых преступлением. Прежде всего является вопрос о живом *содержании* преступления, – не как отвлеченного понятия о нарушении норм, а как конкретного, осязательного явления. Теория дает общие положения, указывает руководящие начала, определяет состав каждого преступления, – но его сокровенное содержание не вмещается в ее рамки. Совокупность влияний, порождающих преступление, и та внутренняя борьба, которая должна происходить в человеке между волею и страстью, между совестью и влечением, прежде чем он решится на роковой шаг, – ускользают от теории. Она может наметить лишь стадии в развитии преступления, указать станции на его пути, определить самый путь – может сказать: «это приготовление», «а это уж покушение», «а вот это совершение», – но она не в силах развернуть пред нами картину внутренней движущей силы преступления и того сцепления нравственных частиц, в которых эта сила встречает себе противодействие. И вопрос о внутреннем содержании преступления, о том – каким образом порочная наклонность, ложная идея, страсть победили и страх наказания, и привычку подчиняться условиям общественного быта – остается открытым пред юристом, в помощь которому является одна теория права. Она указывает ему на преступление как на проявление вражды против общественного порядка, описывает подробно свойства и вооружение врага и по большей части оставляет его лицом к лицу с неизбежным жизненным вопросом о том, как дошел этот враг до того, чтобы сделаться таковым.

Затем вырастает вопрос о наказании в том виде, в каком оно существует в *действительности*, – вопрос не о той указанной в кодексе *роена*, которая не может быть *sine lege*¹, а о настоящей каре, обусловленной историей и бытом страны. Теория дает точные указания, как должно быть организовано наказание, и рисует целую схему карательных мер и учреждений, существующих в стране, но жизнь наполняет отдельные клеточки этой схемы своим содержанием, и без знакомства с этим содержанием мыслящий юрист обойтись не может.

Наконец, когда он познакомился с практическим осуществлением теоретически изображенного наказания, у него невольно рождается новый вопрос, – важный по нравственному свойству своему, по свету, который бросает он на всю уголовную деятельность. Человек, совершивший преступление, наказан, буйная воля внешним образом сломлена и придавлена уголовною карою, – но этим далеко не все исчерпано. Он не хотел подчиняться условиям общежития, совершая преступление, – где же доказательства, что он захочет сознательно, а не насильственно, со злобою или презрением, подчиняться и последствиям нарушения этих условий? Отрицая общественный порядок, он может, в самом себе, не признавать никакого значения и, по возможности, влияния за уголовною карою, налагаемою обществом. Как причина этой кары – преступление – было совершено вопреки требованиям общества, так и вызванный им результат внутренней работы в душе виновника может произойти независимо от этой кары, даже вопреки ей... У него, у этого виновника, может оказаться свое наказание. Постановленное неумолимым и непрерывающимся внутренним судом, это свое наказание может явиться гораздо раньше законной кары и существовать еще долго после отбытия ее. Окончание его, примирение с собою, может наступить вне всякой зависимости от срока или от давности. И пред вопросом о том, как слагается и как и в каких проявлениях осуществляется это свое наказание, невольно остановится юрист. Для него будет ясно, что чем более гармонии, соответствия между этими *роена scripta* и *роена nata*², тем жизненнее и целесообразнее система наказаний, тем лучше исполняет она свою задачу – вкладывать исправительное в карательную форму. Для него станет несомненно непригодность такого наказания, между обветшалым существом которого и внутренним миром наказуемого вырыта целая пропасть...

Наша старая уголовная система давала недостаточные ответы на эти вопросы. Не в ней можно было найти средства для их, хотя бы и отдаленного, разрешения. Эта система не умела или не хотела – или, вернее, то и другое вместе – исследовать преступное деяние не как внешний факт только, но и как душевное проявление. Живой человек, со своей индивидуальностью, был ей чужд. Она не хотела его знать и всемерно избегала встречи с ним. Вам известны, милостивые государи, наш старый уголовный порядок. Не доверяя судье, связывая его целою сетью формальных предписаний о предустановленной силе доказательств, наш прежний процесс отдавал важнейшее исследование дела, ту его часть, где и он не мог обойтись без живого человека, в руки людей малоразвитых, односторонних, узких и подчас грубых. Затем – и только затем – являлся на сцену элемент судебный. Но в каком стесненном, ограниченном виде! Устраняя судью, по возможности от самостоятельности, наш процесс рекомендовал ему иметь дело преимущественно с грубыми фактами, с наглядностью – с доказательствами – и, сурово косясь на улики, указывал на собственное сознание, как на «лучшее доказательство всего мира». Во всем ходе судьбища, во всем механическом измеривании и взвешивании вины – живой человек, о котором шла речь, стоял на заднем плане и был лишь номером дела. Он всплывал наружу, в самом конце, не для того, чтобы защищаться, чтобы проявить свою живую, конкретную личность, а лишь для подписки под постановленным уже приговором. Он был чем-то отвлеченным, не имеющим плоти и крови.

¹ 1 Наказание без закона (*лат.*).

² 2 Наказание по закону и наказание естественное (*лат.*).

Этому *отвлеченному подсудимому* соответствовало и отвлеченное наказание. Ибо что знали мы о главнейшем нашем наказании – Сибири, кроме того, что изображено в XIV и XV томах Свода законов и в учебниках? Долгое время для большинства русских юристов Сибирь представлялась чем-то вроде «погибельного Кавказа» для нашего простолюдина. Пред их умственным взором не возникало никаких реальных представлений о том, как именно живет там, в насильственном сообществе, среди суровых условий и суровой природы; жизнь каторжника, поселенца за Уралом, была почти неведома и не давала о себе знать ни яркими картинками, ни скорбными звуками. И эти люди, и учреждения, их вместившие и ими управлявшие, ускользали от практического изучения. Рудники Сибири, точно исполняя завет Пушкина, «хранили гордое молчанье»³...

Необходимо было обновление. В одной сфере – в суде, оно и свершилось вполне. В другой – в наказании и его организации, в тюрьме и ссылке – оно, по-видимому, начинает свершаться. Но для плодотворности этого обновления необходим был ответ на указанные мною вопросы, ответ, почерпнутый из жизни, данный опытом, явившийся плодом глубокой думы и истекавший из не менее глубокого сердца.

Судьба благоволила к нашему развитию в этом отношении. Она нашла человека, который сумел дать именно такой ответ, – она дала нам Федора Михайловича Достоевского. Кто из образованных русских людей не знаком с капитальными произведениями его: «Записки из Мертвого дома» и «Преступление и наказание»? Кто не почувствовал на себе влияние этих страниц, которые одни, сами по себе, давали бы своему автору право на место в русском Вестминстерском аббатстве – если бы мы умели его устроить для людей, составляющих нашу гордость...

Вам памятно, без сомнения, все подробности «Преступления и наказания» – этой трогательной эпопеи, где художник ведет читателя по ступеням всякого рода «падений», а, заставив его перестрадать их в душе, мирит его, в конце концов, с падшими, в которых, сквозь преходящую оболочку порочного, преступного человека сквозят нарисованные с любовью и горячею верою вечные черты несчастного «брата». Созданные им в этом романе образы не умрут, по художественной силе своей. Они не умрут как пример благородного, высокого умения находить «душу живу» под самой грубой, мрачной, обезображенной формой – и, раскрыв ее, с состраданием и трепетом, показывать в ней то тихо тлеющую, то ярко горящую примитивным светом – искру божью...

Но я хочу указать на другую сторону этого произведения, придающую ему в наших глазах еще особую цену. В нем затронуты все или почти все вопросы уголовного исследования. И как вдумчиво и всесторонне затронуты! Вы имеете в нем полную картину внутреннего развития преступления, сложного по замыслу, страшного по выполнению, – от самого зарождения мысли о нем до пролития крови, которым заключился ее роковой рост. Картина написана незабываемыми чертами и с самым широким взглядом на предстоящую задачу. Везде в этой картине мысль о преступлении, как зерно, тесно связана с почвою, на которую падает. Она не развивается сама из себя, путем логического процесса, – она везде находит приготовленную жизнью почву, которая воспринимает и возвращает ее. Эта жизненная связь проходит чрез весь роман и придает ему такую поразительную правдивость. Можно проследить, как начинает замирать и ослабевать мысль о преступлении и как, получив новый толчок, новое питание в житейской обстановке, она возрождается с еще большею силою и стремительностью.

Задавленный бедностью, оскорбленный и раздраженный неудачами, болезненно чуткий, нежный и впечатлительный студент Раскольников видит, как все более и более сжимается круг теснящей его нужды, за пределами которого тщетно выбивается из сил скорбная фигура его любящей матери. Молодые силы напрасно ищут исхода. Почти неизбежный в страдающей

³ ³...«хранили гордое молчанье...» – у Пушкина в стихотворении «В Сибирь» (1827) – «храните гордое терпенье».

душе затерянного в огромном и чуждом городе человека вопрос о праве сытых, спокойных, способных жить только для себя, бесплодно и бездушно, – возникает и у Раскольникова. Случайно подслушанный разговор о злобной закладчице, сидящей «сторожевою тенью» на сундуках, где бесполезно лежат средства для развития одних, для спасения от гибели других, порождает мысль о праве этой «вши» на существование. И тут в первый раз, как змейка, мелькает мысль об отнятии этого права. Она еще неопределенна, – еще она не коснулась практических вопросов, еще как и каким образом не существуют, – но она упала на подготовленную голодом, нуждой, унынием почву. Это зерно уже не склюют придорожные щебетуны; а мрачные птицы отчаяния, летающие над душой Раскольникова, для зерна этого не опасны. В долгие дни сумрачной думы больная фантазия рисует мало-помалу картины практического осуществления; в обдумывании его, без всякой веры в его серьезность и возможность, но без освежающих ум картин, проходит время. И вот «проба» – и вдруг встает с ясностью эта возможность, осуществимость предприятия. Будущая удобная обстановка с назойливой очевидностью бросается в глаза. Зерно всходит на поверхность молодым побегом. Змейка, свившая себе гнездо в душе Раскольникова, приходит в движение. Вы знаете, как она будет расти, и скользить, и извиваться в борьбе с добрыми порывами и светлыми мыслями. У ней есть точка опоры: – то, что предполагалось, оказалось возможным. Но возможность эта так отвратительна, что все, кажется, может кончиться презрительным смехом над собой и омерзением при мысли: «На какую гадость способно, однако, мое сердце!» Нет! Этим не кончится... Жизнь иногда не знает пощады – и против измученной души Раскольникова последовательно, один за другим, пойдут бессознательным, но победоносным походом – и кающийся пьяница Мармеладов, и «худенькая, бледненькая, с кротким голоском» Соня, продавшая себя чужим детям и «мачехе, злой и чахоточной», и сама эта глубоко несчастная мачеха «с красными пятнами на щеках», и голодные дети, и весь ужас безвыходного страдания и ежечасных толчков нищеты. А затем, среди вихри скорбных и озлобленных дум, раздается одна, все покрывающая нота, звучащая из смоченного слезами Раскольникова письма его матери. Она подавит все – и, вызывая в нем горькое сопоставление Сони, которая «чистоту наблюдать должна», с сестрой, выходящей за «кажется, доброго человека», – вновь, с ужасающей силой, заставит вырасти мысль об убийстве. То, что было мечта вчера, что казалось возможным сегодня утром – созреет в необходимое к вечеру. Не обойдется, однако, без последней борьбы. Волнуемое негодованием, подавленное мыслью об убийстве, сердце не в силах бороться с умом, болезненно бодрствующим и ревниво оберегающим свою мечту, готовую перейти в действительность. Но, когда сон сжимает в своих объятиях усталую голову Раскольникова, на сырой земле Александровского парка, со дна души его поднимаются видения – и вся зверская, дикая сторона убийства встает с ужасающей правдой в образах, связанных с чистейшими воспоминаниями детства... Смерть несчастной савраски, не шедшей «вскачь», – последний протест здоровых начал в душе Раскольникова – протест потрясающе-красноречивый, но бесплодный, ибо мысль об убийстве уже созрела вполне и всецело завладела им. Нужен лишь толчок – пустой, слабый, но имеющий непосредственную связь с этой мыслью – и все окрепнет, и решимость поведет Раскольникова «не своими ногами» на убийство... Так, поставленный под ночное тропическое небо, сосуд с водою, утратившей свой лучистый теплород, ждет лишь толчка, чтобы находящаяся в нем влага мгновенно отвердела и обратилась в лед. «Семой час давно!» – кричит кто-то на дворе, т. е. час, когда закладчица дома одна, – и этот толчок дан, и пред нами потрясающая картина двух преступлений. Одно – задумано и обдумано заранее и приведено в исполнение с редкой последовательностью; другое – неожиданное, – роковое, внезапное...

Нужно ли говорить о реализме этих картин, – подавляющем реализме во всех мельчайших подробностях, – когда известные громкие процессы Данилова и Ландсберга придали этим картинам и подробностям характер какого-то мрачного и чуткого предсказания? Нужно ли говорить о художественном и тонком изображении рядом двух видов убийства – предумыш-

ленного и умышленного, – столь близких по форме, столь различных по внутренней структуре, по происхождению?! Но позвольте обратить ваше внимание на то, что такое ясное, бесспорное, рельефное разграничение этих видов явилось под пером Достоевского за пять лет до того, когда оно нашло себе, наконец, законное выражение в вышедшем на время из своей летаргии Уложении о наказаниях.

Нам скажут, может быть, что в Раскольникове изображен исключительный, редкий случай, – что нищета, оскорбленная гордость, ожесточение, выработавшие в нем странную и болезненную теорию, положившие ее в основание преступления, гораздо реже толкают на этот путь, чем страсть. Пусть изобразят человека в более хороших условиях жизни, пусть изобразят сытого и хладного сердцем и укажут, как закрадывается к нему страсть и ведет его на преступление... Достоевский ответил и на такое требование. Он создал, рядом с ложно направленным умом и «бунтующим» сердцем Раскольникова, мрачную, чувственную, возбуждающую болезненное любопытство фигуру Свидригайлова, сытого и обеспеченного человека, под внешним спокойствием и порядочностью которого бьется снедающая страсть физического обладания, готовая на все, чтобы только вырваться на свободу... Утонченный развратник, убийца «купившей» его жены и в свою очередь собирающийся «купить» себе у расслабленного отца и «рассудительной мамы» «неразвернувшийся бутончик», Свидригайлов представляет такую полную картину нарастания страсти к Дунечке, что сердце невольно замирает и ждет, – сжившись с героями романа, как с живыми лицами, – чего-то недоброго, когда он ведет к себе чистую в своем гордом доверии девушку. И трудно себе представить более глубокое, более поразительное изображение борьбы страсти с остатком совести, со слабым светом чести, который неожиданно и в последний раз вспыхивает в Свидригайлове, когда он отпускает Дунечку из глухой засады, после того, как она истощила все средства защиты... Какую картину необходимой обороны, какой яркий, лихорадочно развивающийся образ человека, останавливающегося по собственной воле в насильственном покушении на целомудрие девушки, – найдет здесь юрист! Какой анализ этой остановки в преступном деле, под влиянием окрепшей на минуту в неравной борьбе воли, которую вот-вот – если только не успеет ускользнуть обреченная жертва – раздавит страсть, торжествуя свою животную победу!

Но не одно внутреннее содержание преступления нашло себе выражение в знаменитом романе. Способы исследования истины в уголовном деле, приемы отыскания и оценки фактов, из которых складывается верная картина, которыми освещается та или другая сторона дела, – все это затронуто Достоевским с глубоким пониманием и прочным знанием. Современная уголовная практика выдвигает на первый план улику, т. е. безразличный сам по себе факт, имеющий значение только по отношению к нему заподозренного в преступлении человека. Изучение – внимательное и всестороннее – этого отношения и составляет главную задачу исследователя. Таким исследователем является умный, тонкий, лукаво-простодушный, но добрый и благородный в душе Порфирий Петрович. Через весь роман проходит его борьба с Раскольниковым – и в ней постоянно слышится отрицание всех устарелых и негодных сторон существовавшего в то время порядка судопроизводства. Вся она состоит из медленного, исполненного законной осторожности и недоверия к первому впечатлению, собирания улик, которые, слагаясь в различные сочетания, то падая и разрушаясь, то приобретая неожиданную окраску, приводят, наконец, следователя к умственному итогу – убеждению в виновности Раскольникова. В этой постоянной сложной и беспристрастной работе соображения и опыта, анализа и воображения состоит и заслуга, и задача человека, приступающего к исследованию преступления. В ней, а не в грубом выдвигании материальных доказательств – дело. Что такое могут быть эти доказательства, какое роковое для правосудия значение могут они получить при одной лишь внешней оценке – показывает мастерски изображенный эпизод с несчастною Сонею в день похорон ее отца, когда и ее «желтый билет», и два свидетеля, и поличное, найденное у нее в кармане, так несомненно доказывают виновность этого самоотверженного сознания

в краже. Взгляните затем на внутреннюю силу «лучшего в мире доказательства» – собственного сознания, в заявлении Миколки, настойчивом и, по-видимому, согласном с обстоятельствами дела, – продиктованном ему страхом пред тем, что его, во всяком случае, «засудят», и особым психологическим процессом, возникшим в душе, жаждущей очищения. Обратитесь к такому специальному вопросу, как принятие мер пресечения, – и вы найдете в разговорах Порфирия с Раскольниковым о том, почему он не убежит, глубокую, житейски-верную мысль об индивидуализации этих мер, нашедшую себе затем выражение в ст. 421 Устава уголовного судопроизводства.

Но, рисуя широкою кистью применение психологических приемов при исследовании преступления, Достоевский, устами своего следователя, остерегает и от злоупотребления ими. Психология «о двух концах» – это оружие острое и опасное, для него нужна прочная рукоять, нужна «черточка», хоть «самая махонькая», хоть одна, но только такая, «чтобы уж этак руками взять можно, чтобы уже вещь была, а не то, что одна эта психология»... Драгоценное правило, живучее и нужное и теперь для судебных деятелей, чтобы напомнить им о фактической точке опоры, неизбежной для того, чтобы психологические построения их были орудием правосудия, а не проявлением лишь находчивого ума, работающего *in anima vili*⁴.

Было бы лишним указывать затем на изображение того внутреннего процесса своего собственного наказания, который так нередко, быть может, невидимо для окружающих, происходит в душе преступника, когда к нему приходит «нежданный гость, докучный собеседник, заимодавец жадный» – совесть. Всякий, кто читал «Преступление и наказание», выстрадал это изображение и истомился муками Раскольникова. Это наказание, эта пестрая игра тревог, надежд, отвращения к себе и ужаса, подымает его из падения. Идучи принимать внешнее наказание, он уже очищен внутренним страданием, и тот затаенный суд, который бог вложил в душу человека, уже совершил свое дело и открыл скорбному и разбитому сердцу новые, более широкие горизонты... И внешнее наказание является желанным концом пред началом новой жизни. Этого наказания так же ищет дрогнувшая, но непорочная душа Раскольникова, истомленная сознанием бесплодности совершенного злодеяния и отсутствием малейшего намека на нравственное удовлетворение, – как ищет смерти Свидригайлов, тяготящийся пустотою и ничтожеством опозоренной развратом жизни.

Мы знаем из судебного опыта, каким важным элементом в изучении преступления являются различные типические болезненные состояния. Больных, слабых и искаженных умственно – много в жизни, много и пред судом, – больше, чем это можно бы предполагать. Закон ставит твердые рамки для оценки их состояния, – но юрист не может закрывать глаза на влияние этого состояния как на приемы исследования, так и на его конечные результаты.

Три рода больных, в широком и в техническом смысле слова, представляет нам судебная практика; это – больные волею, больные рассудком и больные, если можно так выразиться, от неудовлетворенного духовного голода. И о каждом из этих больных сказал Достоевский свое человеческое, веское слово, в высокохудожественных образах.

К первому типу принадлежат, по большей части, горькие пьяницы, жертвы горя, топи-мого в вине, – и отсутствия здоровых удовольствий, отыскиваемых в нем же. Пред нами Мармеладов, «образа звериного и печати его», сознающий, что губит семью, что довел дочь до торговли собою, что отнимает у нее последний грош, нужный ей «на сию чистоту», и не могущий оторваться от штофа, который одновременно и будит, и губит в нем лучшие порывы доброго сердца и кроткой, верующей души, – губит нещадно, «ибо черта его наступила». Мы знаем, как и после какой неслышной борьбы и испытаний наступила для него роковая черта, столь часто, горестно-часто играющая роль в уголовных делах...

⁴ На живом существе (*лат.*). В данном случае – над живой душой.

Представители второго типа – душевнобольные. Судебные уставы, в статьях 353–356 Устава уголовного судопроизводства, выдвинули на надлежащее место и поставили на должную высоту освидетельствование умственных способностей обвиняемого, нравственно обязав юриста-практика изучать общие основания науки о патологических состояниях души. Но едва ли найдется много научных изображений этих состояний, которые могли бы затмить глубоко верные картины душевных расстройств, самых сложных, самых тонких, – рассыпанные в таком множестве по всем сочинениям Достоевского. В особенности разработаны им отдельные проявления элементарных расстройств психологической сферы – преимущественно чувственные аномалии: галлюцинации и иллюзии. Стоит указать на галлюцинации, на ложные представления у Раскольникова, когда, весь отдавшись преследующим его видениям, он идет ночью в квартиру убитой закладчицы, – или когда он, в полузабытии, видит, что бьет ее по голове, а она все наклоняется, все хохочет неслышно и язвительно, а на лестнице шумит целое море голов все поднимающейся, все прибывающей толпы... Стоит припомнить мучительные иллюзии, и бред, и ложные представления Свидригайлова – в холодной комнатке грязного трактира в парке, когда загубленное им непорочное дитя то лежит перед ним в святой тишине смерти, то вдруг раскрывает ему, в другом образе, сладострастные объятия. Изображение острых, резких, быстро надвигающихся душевных расстройств так же глубоко у Достоевского, как изображение постепенного развития меланхолии, со смешанною идеею преследования и величия, у Гоголя, в его бессмертном «Фердинанде VII»... В обоих случаях провидение художника и великая сила творчества создали картины, столь подтверждаемые научными наблюдениями, что ни один психиатр не отказался бы подписать под ними свое имя вместо имени поэта скорбных сторон человеческой жизни. Достоевский придавал огромное значение изучению болезненных состояний души. Мысль о возможности осуждения действительно больного умственно человека тревожила и волновала его до крайности. «Дневник писателя» за 1876 год содержит в себе пламенные страницы, посвященные защите Корниловой, обвинявшейся в выкинутии из окна своей маленькой падчерицы. Целым рядом доводов о влиянии беременности на умственное расстройство и о том извращенном процессе мыслей, который вызывается беременностью, он доказывал неправильность приговора и заявлял, что суд и присяжные ошиблись, что Корнилова не должна, не может быть наказана. Строки, которыми он приветствовал оправдание ее, после вторичного, вызванного кассациею, рассмотрения дела, дышат самою горячею, захватывающей радостью и справедливою гордостью человека, одиноко поднявшего голос против совершившейся ошибки.

Многих людей объемлет собою третий тип страждущих духовным голодом. К нему относятся все, кто не находит ответа на выставляемые смущенною душою «вечные» вопросы, которых не может заглушить ни суэта жизни, ни злоба дня, – все, кто тщетно ждет наставления и руководства для разъяснения недремлющих тревог своих и сомнений, – все, кто просит хлеба и получает камень... Их рисовал Достоевский с особою любовью и знанием, – им старался он откликнуться в произведениях своих последних годов. Недостаток времени и сложность задачи не дают мне возможности очертить пред вами с надлежащею полнотою глубокое значение представителей этого типа для вдумчивого юриста. Но я позволю себе указать на тех из этих представителей, – односторонних и нередко диких в своих взглядах и проявлениях, но живых и цельных по натуре, – которых касался Достоевский и с которыми юристу-практику приходится встречаться в своей деятельности. Я говорю о сектантах. Они мелькают в «Мертвом доме», они выступают в лице Миколки в «Преступлении и наказании». Отсутствие живого общения с живою церковью, вековечный труд и унылая, серая, суровая природа сказались и на учении, и на обрядах некоторых из наших сектантов. За этими обрядами, на которых лежит нередко отпечаток мрачного отношения к жизни, иногда скрывается особое стремление – необычное и, во всяком случае, возвышенное. Это – стремление «принять страдание»... Наше уголовное законодательство не принимает в расчет этого стремления и односторонне обруши-

вается своими уголовными карами, своими стеснениями на обряды, на «оказательство», видя в них цель и центр тяжести деятельности разных сектантов. Но не эти обряды, а принятие страдания, которого ищет, – как исхода, бродящая во тьме и жаждущая истины душа, вот что составляет главную внутреннюю силу этих сектантов, силу, пред которой уголовная кара не только обращается в ничто, но является как горячо ожидаемая помощь на пути к вечному спасению. На эту сторону постоянно указывал Достоевский, и это стремление олицетворил в своем Миколке, в котором просыпается жажда страдания, толкающая его на сознание в убийстве, в чем он неповинен.

Если окинуть умственным взором время перехода нашего суда от отживших старых форм к новым, – окинуть его во всей широте различных его проявлений, – нельзя не заметить, что на границах этого перехода, как выразитель его необходимости, как нравственный наставник, стоит Достоевский... Заступник за униженных и оскорбленных, друг падших и слабых, он выдвигает их вперед, он является борцом за живого человека, которого так недоставало старому порядку и которого он нам так изобразил во всех его душевных движениях, подлежавших изучению подготовлявшегося тогда нового суда. И в этом его великая заслуга пред русским судебным делом, пред русскими юристами!

Таков Достоевский, как художник и мыслитель, относительно преступления. Еще больше, быть может, его заслуга по отношению к наказанию. Он первый познакомил нас с русской каторгой, с действительно Сибирью и наполнил живым, пробуждающим мысль, берущим за сердце содержанием клеточки карательной схемы, которую чертила нам теория. Он повел читателя в гробницу живых людей, скученных вместе, но страдающих одиноко и разное, и на вратах ее написал свое *lasciate ogni speranza*⁵ – «человек есть существо, ко всему привыкающее». Он показал это все без злобы, без иронии, без идеализации и преувеличения. Живою картиною встают под его пером стены каторжного острога, а в этих стенах каторжные порядки, а в порядках этих сдавленные, приниженные люди. Надломленные – да! но не обездоленные. У каждого сохранена и подмечена его личность, в каждом указаны характеристические черты и общие человеческие чувства, пробивающиеся сквозь арестантский халат. Не серой массой, над которою безучастно и точно проделываются карательные предписания, а живым организмом, с разнообразными личными оттенками, является население «Мертвого дома». Представители его длинной вереницею проходят пред нами. Тут и настоящие, мрачно молодецствующие злодеи, бредящие по ночам о крови и о ножах, и незлобивые, простые люди, и угрюмые изверги, и молчаливо страждущие поляки, и детски-доверчивые Алей и Нурра – эти горные орлы, тоскующие по своим родным вершинам, – и все они согреты любовью автора, все облечены в плоть и кровь, на всех брошен луч примирения, всем сказано слово искреннего, христианского участия. Вся жизнь каторжной тюрьмы постепенно разворачивается пред нами, и новый мир, ужасный извне, оригинальный внутри, любопытный вначале, трогательный в конце, возникает в освещении трезвой правды. Арестантские ссоры и похвальбы, работы и отдых, арестантская поэзия и театр, – все, до каторжных животных включительно, встает как живое.

Посмотрите, сколько среди этого разбросано глубоких мыслей об организации наказания, о его влиянии. Достоевский, в самом начале, становится на новую точку зрения, глубоко психологическую, относительно пребывания в общей тюрьме, со всеми. Не необходимость жить с людьми другого развития и быта страшит его при вступлении в мертвый дом, – нет, он сумеет найти в своей душе общие с ними точки соприкосновения для мирного сожительства, – но страшна мысль, что никогда, никогда не придется быть одному! В этом принудительном сообществе заключается, по его опыту, особая тяжесть тюрьмы, и к этой мысли он не раз возвращается, доказывая, что у человека никогда не следует отнимать возможности быть хоть некоторое время одному, – что ему это так же необходимо, как необходимо для каждого чело-

⁵ Оставьте всякую надежду (*ит.*).

века, будь то Мармеладов или карамазовский капитан с «мочалкою», иметь хоть одно такое место, «куда можно пойти», хоть одно существо, которое и «его рода человека любит».

Но он вовсе не склоняется к другой крайности, к столь сильному в последнее время увлечению одиночною системою заключения. Эта система полна, по его мнению, ложных и обманчивых достоинств. «Она высасывает жизненный сок из человека, энервирует его душу, ослабляет ее, пугает ее – и потом, нравственно иссохшую мумию, полусумасшедшего, представляет как образец исправления и раскаяния...» Пусть тюрьма не усугубляет наказания человека, отнимая у него возможность уединения, но пусть она и не разрушает его нравственно и физически, навязывая ему одиночество. Таков вывод, который невольно вытекает из взглядов Достоевского на внутреннюю организацию тюрьмы. «Нельзя живого человека сделать трупом», – восклицает он – и постоянно, настойчиво, не словами только, а целыми образами протестует против ненужного унижения, против обезличия арестанта, рисуя во многих местах яркие картины вспышек подавленной личности, не могущей не заявить о своих человеческих, не отнятых наказанием правах. Говорит ли он о необходимости индивидуализировать наказание, чтобы избежать его жестокой неравномерности, указывает ли он на тягость каторжных работ, состоящую не в их трудности, а в их бесплодности в глазах арестанта, оскорбляющей его и отнимающей у него энергию, – высказывает ли предположение, что совершенная бессмысленность принудительной работы могла бы вызвать ряд самоубийств, – делает ли увлекательный очерк влияния первых признаков весны на зарождение у каторжных тоски по «воле» и мысли о побеге, – во всем звучит гуманный призыв видеть в обитателе мертвого дома прежде всего живую личность и уважать ее человеческое достоинство, ни в ком совершенно не заглушенное. В этом призыве – величайшее достоинство «Записок из Мертвого дома».

Достоевский не остановился, однако, на аналитическом изображении каторги. Есть наказание выше – и споры о нем, о его целесообразности и справедливости давно уже разделяют юристов и политиков на два неравных лагеря. Этот вечный вопрос – *eine ewige Frage*⁶ уголовного права – смертная казнь. И по отношению к ней Достоевский высказался прямо и бесповоротно. Нельзя не прислушаться к тому, что скажет об отнятии жизни у отдельного лица целым обществом писатель, который так умел описать весь ужас, все бесчеловечие убийства как преступления. В горячих словах своего «Идиота» он строго осудил смертную казнь как нечто еще более жестокое, чем преступление. Как бы продолжая потрясающий рассказ Виктора Гюго о последнем дне приговоренного к смерти, обрывающийся ввиду эшафота, – Достоевский пошел с преступником на этот эшафот и описал, в негодующих выражениях, ту «четверть секунды», когда «склизнет над головою нож...» Это описание, чрезвычайно сильное в своей краткости, эта защита «надежды» в человеке – не могут не укреплять противника, не могут не заставить еще раз строго проверить свои взгляды серьезного защитника смертной казни. И в этом новая заслуга мыслителя-художника.

Мне хочется сказать еще об одной особенности Достоевского. Он был вечный заступник, вечный защитник слабых. Он отдал поэтому свое сердце, со всеми знаками и слезами, которые таились в нем, – детям. На страницах его сочинений всегда звучит призыв к внимательному и любящему изучению детской души, приходящей в столкновение с суровым реализмом жизни. Эта черта его, общая с великим английским романистом, с Диккенсом, всегда будет бросать особый свет на его произведения. Только художник с нежно любящею, отзывчивою душою мог так просто, правдиво и задушевно описать, как «входит горькая правда жизни» в ребенка, как негодует, страдает и плачет сердце его при несправедливости или жестокости. Он безгранично любил детей и старался своим словом и нередко делом ограждать их и от насилия, и от дурного примера. «Дневник писателя» переполнен самыми сердечными страницами о детях. Но с детьми для юриста связан, помимо святой задачи их защиты от насилия и нравственной порчи,

⁶ Вечный вопрос (нем.).

еще один из важнейших и труднейших вопросов тюремоведения – вопрос о применении к ним уголовной кары. Для уяснения, для правильной постановки этого вопроса Достоевский сделал немало, и всякий, кто захочет вдумчиво подвергать детей карательному исправлению, не раз должен будет искать совета, разъяснения, поучения на страницах, написанных их усопшим другом и заступником. Он знал их. Они верили ему, шли к нему с любовью, слушали его с серьезным, искренним вниманием. Надо было видеть его, окруженного детьми, – как видел его я, – в колонии малолетних преступников и в камерах Литовского замка – слышать его безыскусственный разговор, без чуждо звучащего для детей «вы», и их горячие просьбы «поговорить еще» или «приехать опять», чтобы понять, какая сила внутреннего сродства с душою «малых сил» жила в его многолюбящей душе... Не в тюремной дисциплине, не в правильно организованном труде даже видел он главное средство исправления малолетних преступников. «Эти детские души видели мрачные картины и привыкли к сильным впечатлениям, – говорил он, – эти картины и впечатления останутся при них навеки и будут сниться им всю жизнь в страшных снах. С этими ужасными впечатлениями надобно войти в борьбу исправителям и воспитателям детей, искоренить их и насадить новые...» Таков его завет. Он труден, он не укладывается в ординарные рамки! – но ведь и цель, которую он имел в виду, не ординарна по своей высоте.

Далеко не все успел сказать я о Достоевском, желая помянуть благодарным словом его память. Но и сказанного, мне думается, достаточно...

На широком поприще творческой деятельности он делал то же, к чему стремимся мы в нашей узкой, специальной сфере. Он стоял всегда за нарушенное, за попранное право, ибо стоял за личность человека, за его достоинство, которые находят себе выражение в этом праве. Из явлений материальной и духовной жизни, проходящих пред нашими глазами отрывками, представляющих как бы кусочки мозаики, – он, силою своего великого таланта, создал целую картину, скрепив ее части одною внутреннею связью. На вратах дорогого нам здания, называемого Судебными уставами, написаны слова⁷, которые никогда не утратят своего глубокого смысла. Ими должна определяться наша деятельность. Но не он ли так жадно искал правды всю свою жизнь и так ревностно служил ей?.. Не у него ли, через все, что творил он, как красная нить, политая слезами, проходит идея о милости, призыв к снисхождению, к пониманию падших и несчастных?.. Из тяжелых лет своего пребывания в Сибири он вынес любящее и прощающее сердце и озарил светом, исходящим из него, «темные пропасти земли»⁸. Почтим же память того, кто старался осветить и нам верный путь и в темной области уголовного исследования, где, по неведению, так легко отойти в сторону от правды – и, по невниманию, не увидеть иногда основания для милости! Почтим память того, кто высоко держал перед нами свой светоч и, указывая, в чем правда и как находить ее, настойчиво указывал на необходимость милости...

В дополнение этого чтения автор решается поместить несколько строк, посвященных памяти Достоевского по случаю столетия со дня его рождения.

Гейне советует рассматривать жизнь выдающихся людей, как рассматривают солнце: на восходе и на закате, когда его величина всего яснее и взору наблюдателя не мешает ни яркий блеск светила, находящегося в своем зените, ни часто заслоняющие его облака. Следуя этому совету и обращаясь к памяти Федора Михайловича Достоевского, мы невольно останавливаемся на нескольких образах – при восходе его таланта и при закате его жизни. Вот деревянный домик на Лиговке, в котором живет и творит, «упорствуя, волнуясь и спеша», великий русский критик, умевший соединить тонкое эстетическое понимание с жаждой лучших условий общественной жизни. «Белинский, – кричит ему пришедший вместе с Григоровичем Некрасов, – новый Гоголь родился!» – и подает ему рукопись, которую ночью перед тем читал с

⁷ ...написаны слова – «правда и милость да царствуют в судах».

⁸ «темные пропасти земли» – у Пушкина: в «мрачных пропастях земли» («19 октября 1827 года»).

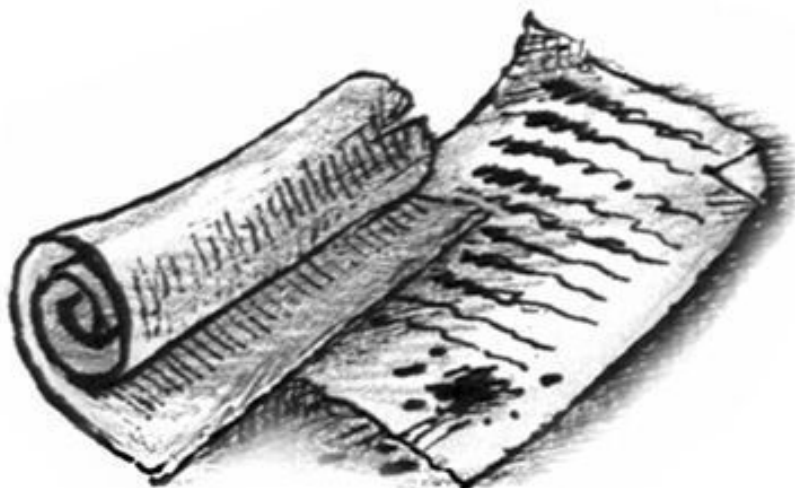
растроганным сердцем. «Эк у вас Гоголи-то словно грибы родятся», – сурово говорит Белинский, но берет рукопись и, ознакомившись с нею, желает видеть автора и восторженно его приветствует. Эта рукопись называется «Бедные люди», а автор ее – бледный 23-летний горный инженер, задумчивый и сосредоточенный в себе Федор Михайлович Достоевский. Его повесть была огромным шагом в сближении литературы с действительной жизнью. На смену придуманных героев и героинь, занимающихся романтическими похождениями и удручаемых на этом пути препятствиями со стороны жестокой судьбы, явился гоголевский Акакий Акакиевич, один из будущих «униженных и оскорбленных», и пред читателем развернулись внешние условия, труд и радости незаметного человека. А ему на смену, в свою очередь, пришел под проникновенным взором Достоевского Макар Деушкин, душа которого раскрыта до самой глубины, с горячим сочувствием его скорбям, душевным переживаниям и страдальческой тоске по разбитым надеждам, которые вились около такой же жертвы тяжких житейских условий. Эта повесть произвела сильнейшее впечатление и сразу прославила автора как одного из выдающихся писателей. Но он удручен бедностью. Среди похвал и общего признания ему приходится трудиться ради насущного хлеба. Ранняя известность, так же как и ранняя власть, обыкновенно действует опьяняющим образом на молодую душу. То же происходит и с Достоевским: нервный и впечатлительный, в поспешной уверенности в себе, он отдается со страстью писательству, не дает, по удачному выражению художника Федотова, настояться своим произведениям, и ему начинает грозить размен таланта на мелкую монету и обращение в рядового поставщика мимолетных и нежизнеспособных литературных произведений. Наступает охлаждение окружающих, повторяющих насмешливые стихи Тургенева, и сам Белинский начинает признавать поспешный труд своего недавнего любимца «нервической чепухой». Ярко и красиво взошедшее солнце начинают заволакивать облака... Проходят четыре года: и перед нами – Семеновский плац в Петербурге; к двадцати столбам на эшафоте привязывают 20 человек, приговоренных полемым судом за участие в «заговоре» Петрашевского, сущность которого состояла в товарищеских собраниях и обедах единомышленных молодых людей, задыхавшихся в тогдашнем бесправии, бессудии, зрелище крепостного права и отсутствии свободы печатного и устного слова, – собраниях, которым напуганное Февральской революцией правительство придавало характер активного выступления на разрушение всего государственного строя. Семь человек приговорены к смерти. На них надеты белые саваны, им предложено исповедаться перед смертью у обходящего эшафот священника, подносящего к их губам крест. Между ними и Достоевский, виновный главным образом в том, что читал на этих собраниях письмо Белинского к Гоголю, в котором «неистовый Виссарион» обращается с горькими упреками к «апостолу кнута» за его спокойное отношение и некоторое сочувствие к крепостному строю. Раздается команда, против осужденных выстраиваются солдаты, наводят на них ружья и, среди смутных и отрывочных впечатлений окружающего, душой Достоевского овладевает сожаление об уходящей навсегда жизни, в которой еще так многое можно бы сделать. Сейчас последует команда «пли!...». Но вдруг наступает конец этой жестокой трагикомедии, и приговоренным к смерти объявляется, что милосердием монарха им дарована жизнь с ближайшим продолжением ее на каторге и затем в сибирских линейных батальонах. Достоевского отвозят в Тобольск закованным, а оттуда он совершает длинную дорогу по этапу среди клейменных на лице каторжников, бряцающая кандалами, коченея и голодая, и наконец вступает в стены острога, с ужасом говоря себе: я никогда не буду больше один. Проходят еще с лишком 30 лет. Огромная зала московского Дворянского собрания переполнена публикой, собравшейся туда на литературное чтение, посвященное памяти Пушкина. Все одушевлены тем радушно праздничным настроением, которое вызвано только что совершившимся открытием памятника Пушкину, когда, казалось, великий поэт простил обществу так долго длившееся равнодушие к его памяти и клеветническое злорадство, окружавшее его в предсмертные годы, когда справедливое признание его гения и заслуг выразилось не только в горячей любви, но и в своего рода влюблен-

ности, привлекавшей многих по несколько раз с умиленным чувством возвращаться к этому памятнику. Среди такого все возраставшего настроения на эстраду всходит человек среднего роста, стоящий на пороге старости, с бледным, исхудалым лицом, тихим голосом, сдержанным жестом. Он начинает говорить о Пушкине и весь преобразается, его голос звучит на всю залу, глаза горят восторгом, жест становится повелительным, и с первых же слов он приобретает в свою власть всю собравшуюся толпу и держит ее в очаровании своего вдохновения более часу. Это Достоевский. Можно не соглашаться с некоторыми положениями этой речи, но тот, кто слышал ее, тот не может забыть впечатления, ею произведенного, и чувств, ею вызванных, тот может понять, какую силу может иметь живое слово, когда в нем соединяются воедино пламенная искренность, любовь к тому, что говоришь, и свободное распоряжение богатством родного языка. Все были так захвачены этой речью, что наступило по окончании ее минутное молчание, как будто никому не хотелось верить, что последнее слово уже сказано, и только затем произошел взрыв рукоплесканий, приветствий, сопровождаемых слезами; многие бросились к эстраде, стремясь обнять Достоевского или поцеловать у него руку – волнение у одного из подбежавших было так сильно, что с ним сделалось дурно, а долженствовавший говорить вслед за этим Иван Аксаков заявил, что говорить тотчас после Федора Михайловича невозможно, и просил отсрочки.

Еще немного более полугода... В день кончины Пушкина, Карлейля и Байрона за обитой обветшалой клеенкой дверью, в третьем этаже огромного каменного ящика, называемого в Петербурге домом, в квартире с самой скромной – чтобы не сказать бедной – обстановкой лежит тело только что умершего, от разрыва легочной артерии, писателя, на лице которого написана таинственная радость сбывшейся уверенности. Это тот, чье появление в последние два года в разных собраниях вызывало восторженные овации присутствовавших и пред чьим наскоро набросанным портретом будут стоять в грустном раздумье посетители пушкинского вечера, на котором он должен был читать, со свойственным ему глубоким выражением, стихи поэта, им столь любимого, но куда он не пришел, потому что дорогу ему заступила смерть: – это снова Достоевский...

А через два дня от далекого Кузнечного переулка и Ямской протянулась длинная цепь депутаций с венками и хоругвями, предшествующая гробу, несомому на руках до Александроневского кладбища самыми разнообразными поклонниками его многостороннего творчества: студентами и министрами, писателями и артистами и товарищами по эшафоту Плещеевым и Пальмом. Таких общественных похорон Петербург еще не видывал в своих стенах. В них не было ни официальности, ни партийности, ни показной осиротелости – все было внушительно, величаво и вместе просто, – на всем чувствовалось сознание глубокого значения и незаменимости потери, за которую должно начинаться настоящее бессмертие.

Таков был закат Достоевского.



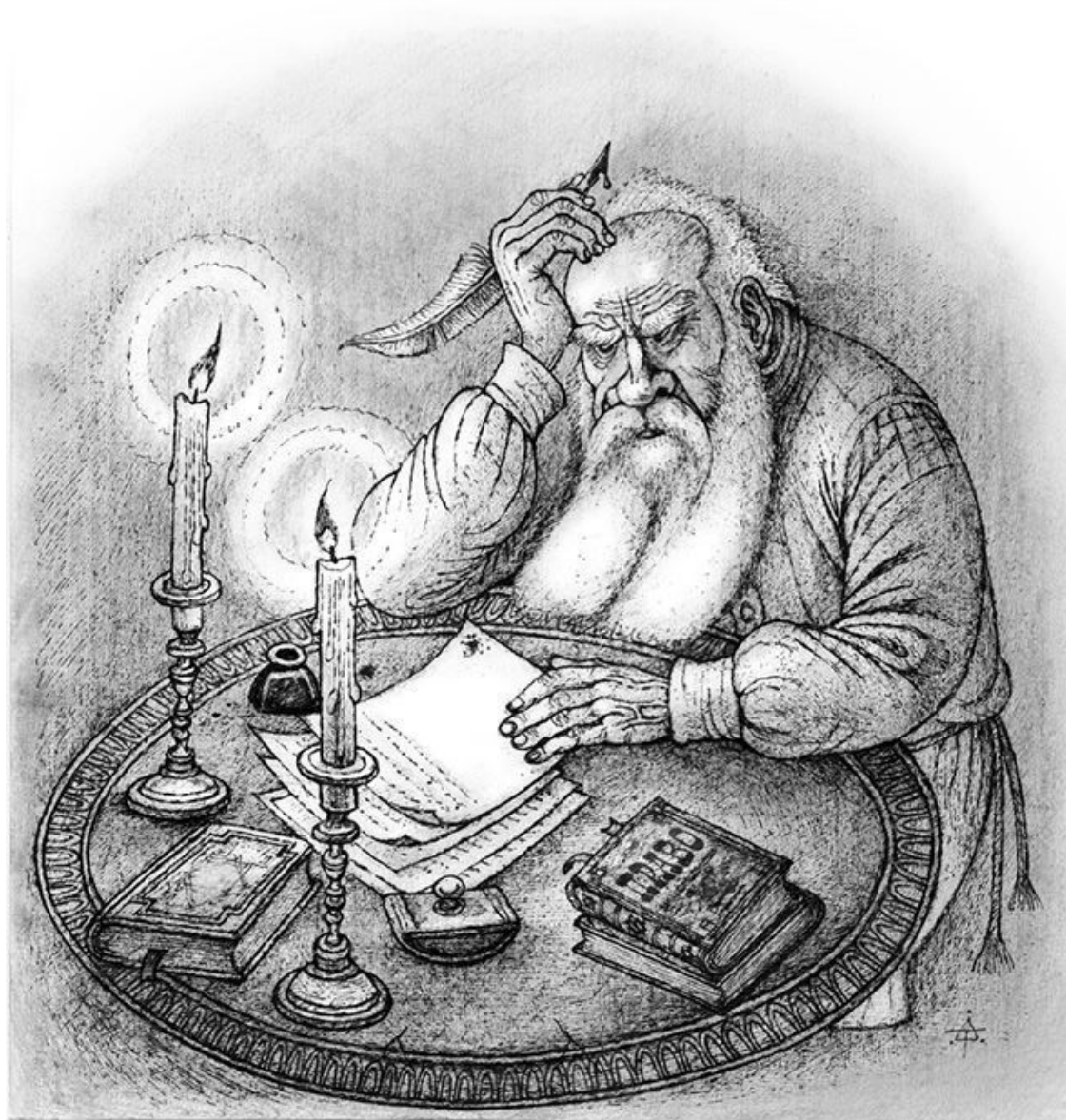
Лев Толстой

Письмо студенту о праве

Получил ваше письмо и с удовольствием отвечаю на него. То, что вы выписываете из книги г-на Петражицкого, – «Существенное значение этических переживаний и нравственного и правового типа в человеческой жизни состоит в том, что они

1) действуют в качестве мотивов поведения (мотивационное действие этических переживаний);

2) производят известные изменения в самой психике индивидов (педагогическое, воспитательное действие этических переживаний)»...



«Чисто моральная, беспритязательная психика – очень высокая и идеальная психика, но она требует для нормального и здорового развития характера еще другой, притязательной, правовой психики. Без такого дополнения, или, правильнее, без такого (императивно-атрибутив-

ного) фундамента нет здоровой этики, а существует почва для разных, подчас отвратительных, уродливостей»... «В обществе принято относиться к праву как к чему-то низшему по сравнению с нравственностью, менее ценному, менее достойному уважения. А есть учения (напр., учение Л. Толстого, разные анархические учения), которые относятся к праву прямо отрицательно. В основе этих воззрений, как видно из всего вышеизложенного, лежит незнание природы и значение и той и другой ветви человеческой этики» – показалось мне, с одной стороны, в высшей степени забавным своими императивными, атрибутивными, этическими и какими-то еще переживаниями, особенно, когда я живо представил себе ту важность, с которой все это преподается почтенными, часто старыми уже людьми, и то подобострастное уважение, с которым все это воспринимается и заучивается тысячами не глупых и считающихся просвещенными молодых людей. Но, кроме этой комической стороны, есть в этом деле и сторона серьезная и очень серьезная. И про нее-то мне и хочется сказать то, что я о ней думаю. Серьезная сторона эта в том, что вся эта удивительная так называемая наука о праве, в сущности, величайшая чепуха, придумана и распространяема не с легким сердцем, как говорят французы, а с очень определенной и очень нехорошей целью: оправдать дурные поступки, постоянно совершаемые людьми нерабочих сословий. Серьезная сторона этого дела еще и в том, что ни на чем нельзя с большей очевидностью увидеть ту низкую степень истинного просвещения людей нашего времени, как на том удивительном явлении, что собрание таких самых запутанных, неясных рассуждений, выражаемых выдуманскими, ничего не значащими, смешными словами, признается в нашем мире «наукой» и серьезно преподается в университетах и в академиях.

Право? Право естественное, право государственное, гражданское, уголовное право, церковное, право войны, право международное, *das Recht*, *le Droit*, право (по-английски слово право, *das Recht*, *le droit*, передается словом *law*. Англичане совершенно основательно соединили в одно-два искусственно разделенных понятия, так как правом называется только то, что утверждено законом.).

Что же такое то, что называется этим странным словом? Если рассуждать не по «науке», т. е. не по атрибутивно-императивным переживаниям, а по общему всем людям здравому смыслу определять то, что в действительности подразумевается под словом «право», то ответ на вопрос о том, что такое право, будет очень простой и ясный: правом в действительности называется для людей, имеющих власть, разрешение, даваемое ими самим себе, заставлять людей, над которыми они имеют власть, делать то, что им – властвующим, выгодно, для подвластных же правом называется разрешение делать все то, что им не запрещено. Право государственное есть право отбирать у людей произведения их труда, послать их на убийства, называемые войнами, а для тех, у кого отбирают произведения их труда и которых посылают на войны, право пользоваться теми произведениями своего труда, которые еще не отобраны от них, и не идти на войны до тех пор, пока их не посылают. Право гражданское есть право одних людей на собственность земли, на тысячи, десятки тысяч десятин и на владение орудиями труда, и право тех, у кого нет земли и нет орудий труда, продавать свои труды и свои жизни, умирая от нужды и голода, тем, которые владеют землею и капиталами. Уголовное право есть право одних людей ссылая, заточать, вешать всех тех людей, которых они считают нужным ссылая, заточать, вешать; для людей же ссылаемых, заточаемых и вешаемых есть право не быть изгнанными, заключенными, повешенными до тех пор, пока это тем, кто имеет возможность это делать, не покажется нужным. То же самое и по международному праву: это право Польши, Индии, Боснии и Герцеговины жить независимо от чужих властей, но только до тех пор, пока люди, распоряжающиеся большими количествами войска, не решат иначе. Так это ясно для всякого человека, думающего не по атрибутивно-императивным переживаниям, а по общему всем людям здравому смыслу. Для такого человека ясно, что то, что скрывается под словом «право», есть не что иное, как только самое грубое оправдание тех насилий, которые совершаются одними людьми над другими.

Но права эти определяются законами, говорят на это «ученые». Законами? да, но законы-то эти придумываются теми самыми людьми, будь они императоры, короли, советники императоров и королей, или члены парламентов, которые живут насилиями и потому ограждают эти насилия устанавливаемыми ими законами. Они же, те же люди и приводят эти законы в исполнение, приводят же их в исполнение до тех пор, пока законы эти для них выгодны, когда же законы эти становятся невыгодны им, они придумывают новые, такие, какие им нужно.

Ведь все дело очень просто: есть насилующие и насилуемые, и насилующим хочется оправдать свое насилие. И вот свои распоряжения о том, как они в данном случае и в данное время намерены насиловать людей, они называют законами, разрешение же, которое они сами себе дают совершать свои насилия, и предписания насилуемым делать только то, что не запрещается им, называют правом.

И тысячи и тысячи молодых людей старательно изучают все эти глупости – еще не беда бы была, если бы только глупости, но гадости, на которых строится этот грубый и губительный обман, и большие миллионы простых людей, доверяя тому, что им внушают «ученые», безропотно подчиняются той неестественной подавленной жизни, которая слагается для них вследствие этого проповедуемого и признаваемого «учеными» людьми обмана.

Когда какой-нибудь шах персидский, Иоанн Грозный, Чингисхан, Нерон режут, бьют людей тысячами, это ужасно, но все-таки не так ужасно, как то, что делают г-да Петражицкие и им подобные. Эти убивают не людей, а все то святое, что есть в них.

Нехорошо суеверие и отчасти обман какой-нибудь разносимой по народу чудотворной иконы матушки царицы небесной, но в этом суеверии и обмане есть некоторая поэзия, кроме того, обман этот вызывает все-таки добрые чувства в людях, но в суеверии и обмане «права» нет ничего, кроме самого гадкого мошенничества, желания не только скрыть от людей создаваемую всеми нравственно-религиозную истину, но извратить ее, выдать за истину самые жестокие и противные нравственности поступки: грабежи, насилия, убийства.

Поразительны при этом и дерзость, и глупость, и пренебрежение к здравому смыслу, с которыми эти г-да ученые вполне спокойно и самоуверенно утверждают, что тот самый обман, который более всего другого развращает людей, нравственно воспитывает их. Ведь говорить это можно было и то с грехом пополам, когда происхождение «права» признавалось божественным, теперь же, когда то, что называется «правом», выражается в законах, придумываемых или отдельными людьми, или спорящими партиями парламентов, казалось бы, уже совершенно невозможно признавать постановления «права» абсолютно справедливыми и говорить о воспитательном значении «права». Главное же говорить о воспитательном значении «права» нельзя уже потому, что решения «права» приводятся в исполнение насилиями, ссылками, тюрьмами, казнями, т. е. поступками самыми безнравственными. Говорить теперь об этическом, воспитательном значении «права» все равно что говорить (да и говорили это) об этическом воспитательном значении для рабов власти рабовладельцев. Мы теперь в России с полной очевидностью видим это воспитательное значение «права». Видим, как на наших глазах развращается народ, благодаря тем неперестающим преступлениям, которые – вероятно, оправдываемые «правом» – совершаются русскими властями. Развращающее влияние деятельности, основанной на «праве», особенно резко заметно теперь в России, но то же самое всегда и везде есть, было и будет, где есть, – а оно везде есть – признание законности всякого рода насилий, включающих и убийство, основанных на «праве».

Да, воспитательное значение «права»!

Едва ли в каком-либо другом случае доходили до таких пределов и наглость лжи и глупость людей.

Этическое воспитательное значение «права»! Ведь это ужасно. Главная причина безнравственности людей нашего христианского мира это этот ужасный обман, который называется «правом», а они говорят о воспитательном значении «права».

Ведь никто не станет спорить о том, что самые первые, невысокие требования нравственности, не говоря уже о любви, состоят в том, чтобы не делать другому, чего не хочешь, чтоб тебе делали, сострадать бедному, голодному, прощать обиды, не грабить людей, не присваивать одним людям того, на что другие имеют одинаковое с ними право, вообще не делать того, что сознается злом всяким неиспорченным разумным человеком. И что же, как образец справедливости и исполнения нравственных требований, самым торжественным образом делается людьми, считающими сами себя учителями, руководителями людей? Охранение богатств крупных земельных собственников, фабрикантов, капиталистов, наживших свои богатства захватом земли, естественно долженствующей быть общей, или ограблением трудов рабочих, поставленных вследствие отнятия земли в полную зависимость от капиталистов; охранение такое усердное, что когда [кто] либо из ограбленных, забытых, обманутых, со всех сторон спаиваемых одуряющими напитками людей как-нибудь присвоит себе 0,0000001 предметов, которые постоянным грабежом отняты у него и его товарищей, его по «праву» судят, запирают, ссылают.

Живет владелец тысячи десятин земли, т. е. человек, противно всякой самой несомненной справедливости завладевший один естественным достоянием многих, в особенности тех, которые живут на этой земле, т. е. явно ограбивший и не перестающий грабить их. И вот один из этих огрубляемых людей, безграмотный, одуренный ложной верой, передаваемой ему из рода в род, спаиваемый правительством водкой, нуждающийся в удовлетворении самых первых жизненных потребностей, идет ночью с топором в лес и срубает дерево, необходимое ему или для постройки, или для того, чтобы на вырученные деньги купить самое необходимое. Его ловят. Он нарушил «право» владельца 1000 десятин леса, знатоки «права» судят его и сажают в тюрьму, оставляя голодную семью без последнего работника. То же совершается везде, в сотнях, тысячах таких случаев в городах, заводах и фабриках.

Казалось бы, что не может быть нравственности без справедливости, доброты, сострадания, прощения обид. Тут все это нарушается во имя «права». И такие-то дела, совершаемые на основании «права» ежедневно повсюду тысячами, нравственно воспитывают людей!

Воспитательное, этическое влияние «права»?!

Нет ничего – даже не исключая богословия, которое так неизбежно развращало бы, не могло бы не развращать людей.

Можно только удивляться тому, как, несмотря на это постоянное и усиленное с двух сторон развращение народа, еще удержалось в нем истинное понимание справедливости, уже совершенно потерянное нерабочими сословиями.

«Если ученые господа, знающие все божеские и человеческие законы, притом ни в чем не нуждающиеся, богатые, считают, что надо бедняка, который по нужде, или даже по глупости, пьянству, невежеству срубил в лесу дерево или унес из завода на 2 рубля товару, посадить в тюрьму и не прощать, а морить с голоду его семью, то что же мне-то голому, безграмотному делать, когда у меня сведут лошадь. Судить, и не то что засудить, а убить конокрада». – Так должны бы рассуждать люди из народа, но они, несмотря на все развращение, которому подвергаются от «права» и богословия, преимущественно от «права», все-таки удерживают настоящие нравственные человеческие черты, которых нет и помину людей, устанавливающих «права» и живущих по ним.

Кант говорил, что болтовня высших учебных заведений есть большей частью соглашение уклоняться от решения трудных вопросов, придавая словам изменчивый смысл. Но мало того, что эта болтовня ученых имеет целью уклонение от решения трудных вопросов, болтовня эта, как это происходит при болтовне о «праве», имеет часто еще самую определенную безнравственную цель – оправдание существующего зла.

Так это и в нравственном отношении, но и с точки зрения разумности вера в какую-нибудь чудотворную матушку царицу небесную, или в канонизированную на днях Жанну

д'Арк все-таки не так нелепа, как вера в атрибутивные, императивные переживания и т. п. Казалось бы, в наше время уже и явная неточность, софистичность самых понятий и искусственность несуществующих выдуманных слов для их выражения должны бы сразу отталкивать свежие, молодые умы от занятия такими предметами. Но по вашему письму вижу, что и теперь то же самое, что было 60 лет тому назад. Я ведь сам был юристом и помню, как на втором курсе меня заинтересовала теория права, и я не для экзамена только начал изучать ее, думая, что я найду в ней объяснение того, что мне казалось странным и неясным в устройстве жизни людей. Но помню, что чем более я вникал тогда в смысл теории права, тем все более и более убеждался, что или есть что-то неладное в этой науке, или я не в силах понять ее; проще говоря, я понемногу убеждался, что кто-то из нас двух должен быть очень глуп: или Неволин, автор энциклопедии права, которую я изучал, или я, лишенный способности понять всю мудрость этой науки. Мне было тогда 18 лет, и я не мог не признать того, что глуп я, и потому решил, что занятия юриспруденцией выше моих умственных способностей, и оставил эти занятия. Теперь же, занятый десятками лет совсем другими интересами, я как-то забыл о науке «права», и даже мне смутно представлялось, что большинство людей нашего времени уже выросли из этого обмана. Но по вашему письму я, к сожалению, вижу, что «наука» эта все еще существует и продолжает совершать свое злостное дело. И потому я рад случаю высказать об этой науке то, что теперь о ней думаю, и полагаю, что думаю не один я, а вместе с очень многими и многими.

Не стану советовать профессорам разных «прав», проводившим всю жизнь в изучении и преподавании этой лжи и устроившим на этом преподавании свое положение в университетах и академиях и часто наивно воображающим, что, преподавая свои мотивационные действия этических переживаний и т. п., они делают что-то очень важное и полезное, не стану таким людям советовать бросить это дурное занятие, как не стану советовать это священникам, архиереям, проводившим, как и эти господа, всю жизнь в распространении и поддержании того, что они считают необходимым и полезным. Но вам, молодому человеку, и всем вашим товарищам не могу не советовать как можно скорее, пока голова ваша не совсем запуталась и нравственное чувство не совсем притупилось, бросить это не только пустое и одурачивающее, но и вредное и развращающее занятие.

Вы пишете, что г-н Петражицкий в своих лекциях упоминает о том, что он называет моим учением. Учения у меня никакого нет и не было. Я ничего не знаю такого, чего не знали бы все люди. Знаю же я со всеми людьми, с огромным большинством людей всего мира то, что все люди свободные, разумные существа, в душу которых вложен один высший, очень простой, ясный и доступный всем закон, не имеющий ничего общего с предписаниями людей, называемыми правами и законами. Высший закон этот, самый простой и доступный всякому человеку, состоит в том, чтобы любить ближнего, как самого себя, и потому не делать другому того, чего не хочешь себе. Закон этот так близок сердцу человеческому, так разумен, исполнение его так несомненно устанавливает благо как отдельного лица, так и всего человечества и так одинаково был провозглашен закон этот всеми мудрецами мира, от Ведантистов Индии, Будды, Христа, Конфуция до Руссо, Канта и позднейших мыслителей, что если бы не те коварные и злобные усилия, которые делали и делают богословы и правоведы для того, чтобы скрыть этот закон от людей, закон этот уже давно был бы усвоен огромным большинством людей, и нравственность людей нашего времени не стояла бы на такой низкой степени, на которой она стоит теперь.

Так вот те мысли, которые вызвало во мне ваше письмо и которые я очень рад случаю высказать.

Письмо это мне бы хотелось напечатать. Если вы разрешите это, я бы напечатал его с вашим письмом.

27 апр. 1909

Ясная Поляна

Антон Чехов

Ночь перед судом

– Быть, барин, беде! – сказал ямщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебежавшего нам дорогу.

Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в С-ий окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство. Погода была ужасная. Когда я к ночи приехал на почтовую станцию, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли, – до того я озяб, промок и обалдел от однообразной дорожной тряски. На станции встретил меня станционный смотритель, высокий человек в кальсонах с синими полосками, лысый, заспанный и с усами, которые, казалось, росли из ноздрей и мешали ему нюхать.

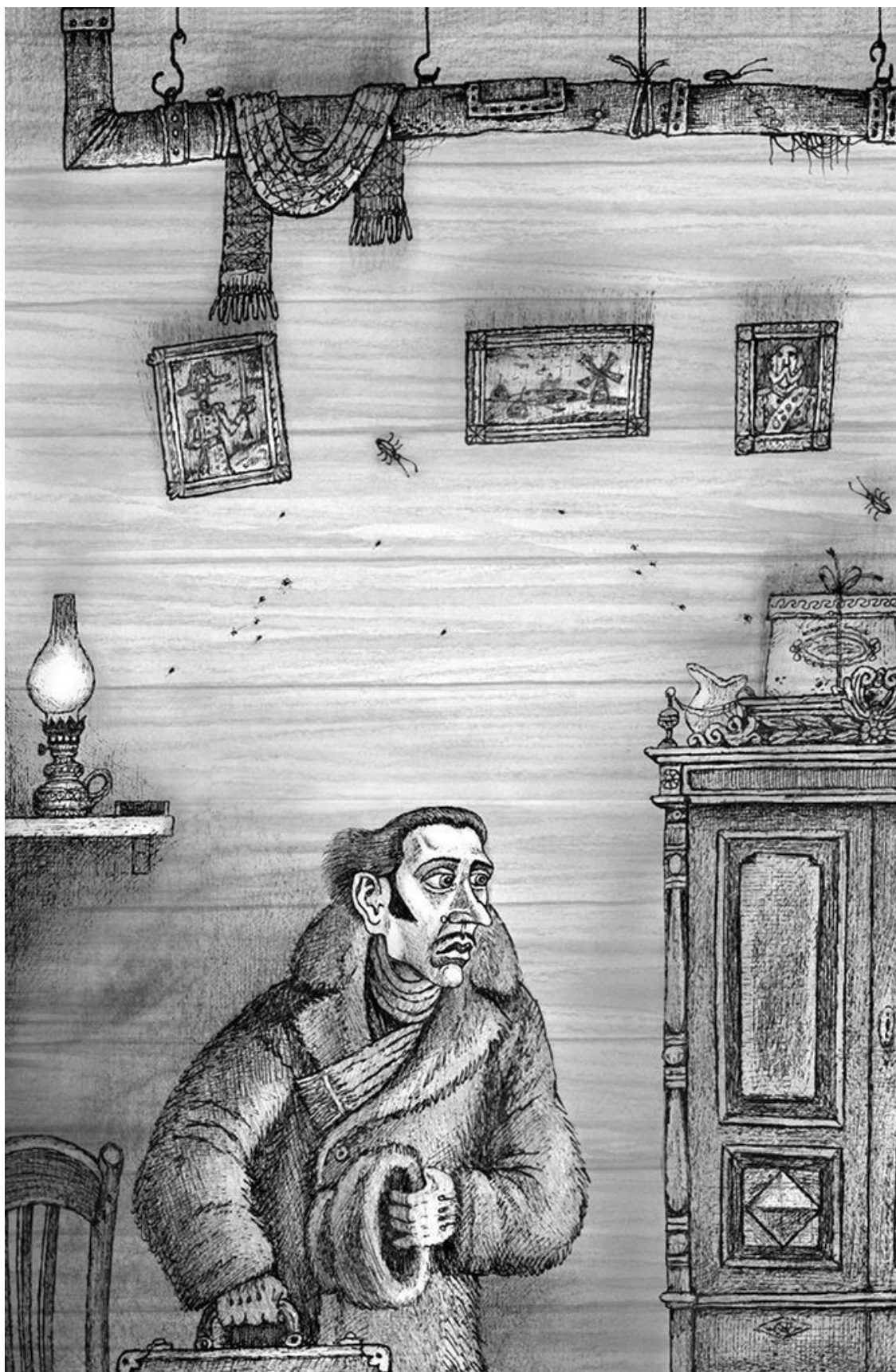
А понюхать, признаться, было что. Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротником, отворил дверь в станционные «покои» и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, сургуча и раздавленного клопа – и я едва не задохнулся. Жестяная лампочка, стоявшая на столе и освещавшая деревянные некрашенные стены, коптила, как лучина.

– Да и вонь же у вас, синьор! – сказал я, входя и кладя чемодан на стол.

Смотритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой.

– Пахнет, как обыкновенно, – сказал он и почесался. – Это вам с морозу. Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут.

Я уснул смотрителя и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, обит клеенкой и был холоден, как лед. Кроме дивана, в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я постлал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к вони.



Снявши сюртук, брюки и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбаясь, ежась, я запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги... Эти прыжки меня еще более согрели. Оставалось после этого растянуться на диване и уснуть, но тут случился маленький

казус. Мой взгляд нечаянно упал на ширмы и... представьте мой ужас! Из-за ширмы глядела на меня женская головка с распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черные брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие ямочки – стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Головка, заметив, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупя взор, я смирнехонько направился к дивану, лег и укрылся шубой.



«Какая оказия! – подумал я. – Значит, она видела, как я прыгал! Нехорошо...»

И, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительнее затеснились в моем воображении и... и, словно в наказание за

грешные мысли, я вдруг почувствовал на своей правой щеке сильную, жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чем дело: запахло раздавленным клопом.

– Это черт знает что такое! – услышал я в то же время женский голосок. – Проклятые клопы, вероятно, хотят съесть меня!

Гм!.. Я вспомнил о своей хорошей привычке всегда брать с собой в дорогу персидский порошок. И на сей раз я не изменил этой привычке. Жестянка с порошком была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головке средство от «энциклопедии» и – знакомство готово. Но как предложить?

– Это ужасно!

– Сударыня, – сказал я возможно сладеньким голосом. – Насколько я понял ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если угодно, то...

– Ах, пожалуйста!

– В таком случае я сейчас... надену только шубу, – обрадовался я, – и принесу...

– Нет, нет... Вы через ширму подайте, а сюда не ходите!

– Я и сам знаю, что через ширму. Не пугайтесь: не башибузук какой-нибудь...

– А кто вас знает! Народ вы проезжий...

– Гм!.. А хоть бы и за ширму... Тут ничего нет особенного... тем более, что я доктор, – солгал я, – а доктора, частные пристава и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь.

– Вы правду говорите, что вы доктор? Серьезно?

– Честное слово. Так позвольте принести вам порошок?

– Ну, если вы доктор, то пожалуй... Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам... Федя! – сказала брюнетка, понизив голос. – Федя! Да проснись же, тюлень! Встань и поди за ширму! Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошку.

Присутствие за ширмой «Феди» было для меня ошеломляющею новостью. Меня словно обухом ударило... Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вероятности, испытывает ружейный курок, когда делает осечку: и совестно, и досадно, и жалко... На душе у меня стало так скверно и таким мерзавцем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва не закричал караул. Федя изображал из себя высокого жилистого человека лет пятидесяти, с седыми бачками, со стиснутыми чиновничьими губами и с синими жилками, беспорядочно бегавшими по его носу и вискам. Он был в халате и туфлях.

– Вы очень любезны, доктор... – сказал он, принимая от меня персидский порошок и поворачивая к себе за ширмы. – Mercі... И вас застала пурга?

– Да! – проворчал я, ложась на диван и остервенело натягивая на себя шубу. – Да!

– Так-с... Зиночка, по твоему носику клопик бежит! Позволь мне снять его!

– Можешь, – засмеялась Зиночка. – Не поймал! Статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь!

– Зиночка, при постороннем человеке... (вздых). Вечно ты... Ей-богу...

– Свины, спать не дают! – проворчал я, сердясь сам не зная чего.

Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, час... и я не спал. В конце концов и соседи мои заворочались и стали шепотом браниться.

– Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет! – проворчал Федя. – Так их много, этих клопов! Доктор! Зиночка просит меня спросить вас: отчего это клопы так мерзко пахнут?

Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии; поговорили об Эдисоне...

– Ты, Зиночка, не стесняйся... Ведь он доктор! – услышал я шепот после разговора об Эдисоне. – Не церемонься и спроси... Бояться нечего. Шервецов не помог, а этот, может быть, и поможет.

– Спроси сам! – прошептала Зиночка.

– Доктор, – обратился ко мне Федя, – отчего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли... теснит, точно, знаете ли, запеклось что-то...

– Это длинный разговор, сразу нельзя сказать... – попытался я увернуться.

– Ну, так что ж, что длинный? Время есть... все одно, не спим... Посмотрите ее, голубчик! Надо вам заметить, лечит ее Шервецов... Человек-то он хороший, но... кто его знает? Не верю я ему! Не верю! Вижу, вам не хочется, но будьте так добры! Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить.

Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженная множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок.

– Покажите язык! – начал я, садясь около нее и хмурия брови.

Она показала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс.

– Гм!.. – промычал я, не найдя пульса.

Не помню, какие еще вопросы задавал я, глядя на ее смеющееся личико, помню только, что под конец моей диагностики я был уже таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов.

Наконец, я сидел в компании Феди и Зиночки за самоваром; надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки:

Rp. Sic transit 0,05

Gloria mundi 1,0

Aquae destillatae 0,1

Через два часа по столовой ложке.

Г-же Съеловой.

Д-р Зайцев.

Утром, когда я, совсем уже готовый к отъезду, с чемоданом в руке, прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая десятирублевку, убеждал:

– Нет, вы обязаны взять! Я привык платить за всякий честный труд! Вы учились, работали! Ваши знания достались вам потом и кровью! Я понимаю это!

Нечего было делать, пришлось взять десятирублевку.

Так в общих чертах провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз; и я прочел себе отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно-важные физиономии присяжных...

Но я не могу описать, а вы представить себе, моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте – кого бы вы думали? – Федю! Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил клопов, Зиночку, свою диагностику, и не мороз, а целый Ледовитый океан пробежал по моей спине... Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла... рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в него глазами...

– Подсудимый, назовите суду ваше имя и проч., – начал председатель.

Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу.

– Ну, быть бане! – подумал я.

По всем признакам, прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал...

Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва... Сейчас будет речь прокурора.

Что-то будет?

1886

Суд

Изба Кузьмы Егорова, лавочника. Душно, жарко. Проклятые комары и мухи толпятся около глаз и ушей, надоедают... Облака табачного дыму, но пахнет не табаком, а соленой рыбой. В воздухе, на лицах, в пении комаров тоска.

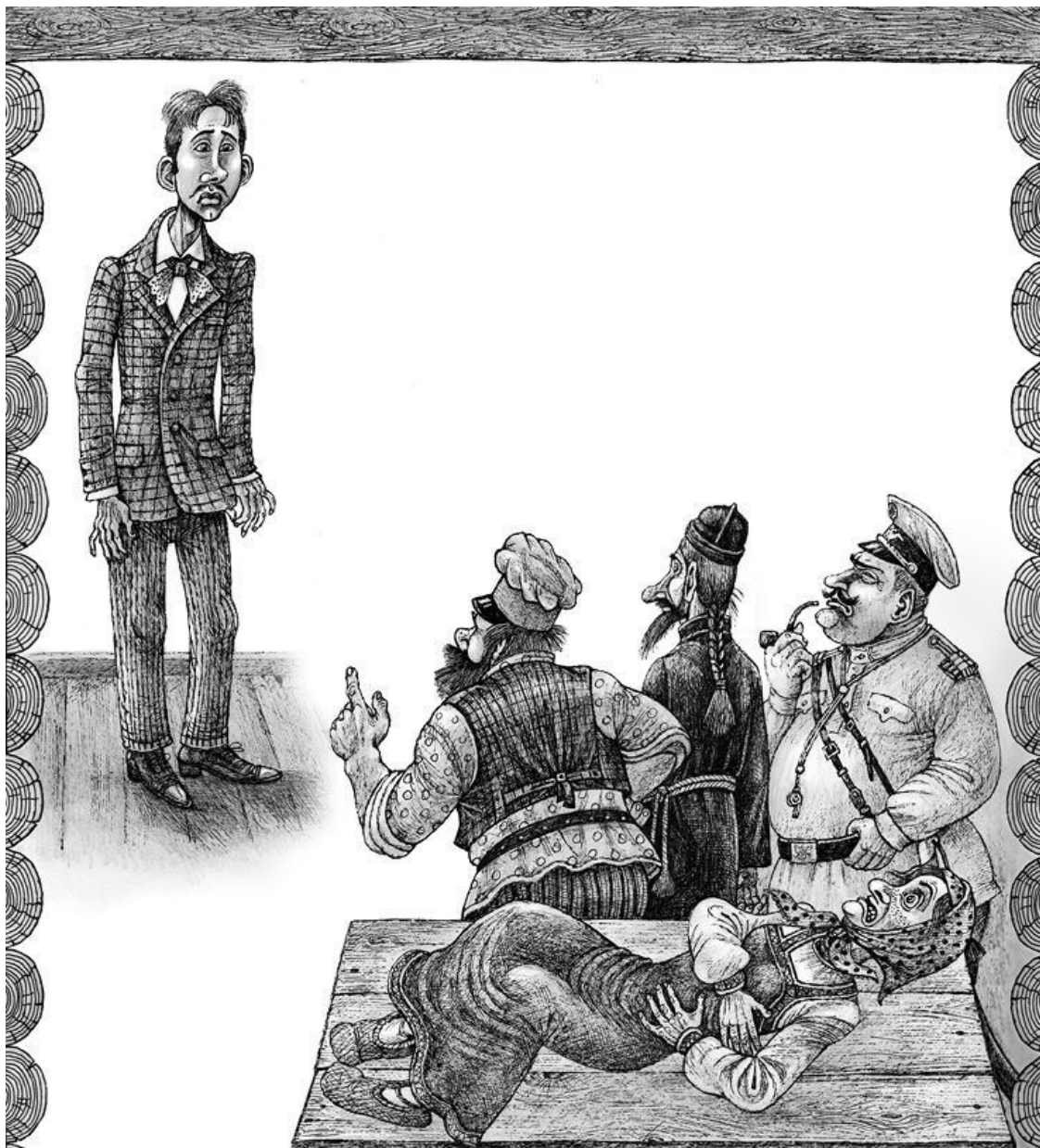
Большой стол; на нем блюдечко с ореховой скорлупой, ножницы, баночка с зеленой мазью, картузы, пустые штофы. За столом восседают: сам Кузьма Егоров, староста, фельдшер Иванов, дьячок Феофан Манафуилов, бас Михайло, кум Парфентий Иваныч и приехавший из города в гости к тетке Анисье жандарм Фортунатов. В почтительном отдалении от стола стоит сын Кузьмы Егорова, Серапион, служащий в городе в парикмахерской и теперь приехавший к отцу на праздники. Он чувствует себя очень неловко и дрожащей рукой теребит свои усики. Избу Кузьмы Егорова временно нанимают для медицинского «пункта», и теперь в передней ожидают расслабленные. Сейчас только привезли откуда-то бабу с поломанным ребром... Она лежит, стонет и ждет, когда, наконец, фельдшер обратит на нее свое благосклонное внимание. Под окнами толпится народ, пришедший посмотреть, как Кузьма Егоров своего сына пороть будет.

– Вы всё говорите, что я вру, – говорит Серапион, – а потому я с вами говорить долго не намерен. Словами, папаша, в девятнадцатом столетии ничего не возьмешь, потому что теория, как вам самим небезызвестно, без практики существовать не может.

– Молчи! – говорит строго Кузьма Егоров. – Материй ты не разводи, а говори нам толком: куда деньги мои девал?

– Деньги? Гм... Вы настолько умный человек, что сами должны понимать, что я ваших денег не трогал. Бумажки свои вы не для меня копите... Грешить нечего...

– Вы, Серапион Косьмич, будьте откровенны, – говорит дьячок. – Ведь мы вас для чего это спрашиваем? Мы вас убедить желаем, на путь наставить благой... Папашенька ваш ничего вам, кроме пользы вашей... И нас вот попросил... Вы откровенно... Кто не грешен? Вы взяли у вашего папаша двадцать пять рублей, что у них в комодке лежали, или не вы?



Серапион сплевывает в сторону и молчит.

– Говори же! – кричит Кузьма Егоров и стучит кулаком о стол. – Говори: ты или не ты?

– Как вам угодно-с... Пускай...

– Пушай, – поправляет жандарм.

– Пушай это я взял... Пушай! Только напрасно вы, папаша, на меня кричите. Стучать тоже не для чего. Как ни стучите, а стола сквозь землю не провалите. Денег ваших я никогда у вас не брал, а ежели брал когда-нибудь, то по надобности... Я живой человек, одушевленное имя существительное, и мне деньги нужны. Не камень!..

– Поди да заработай, коли деньги нужны, а меня обирать нечего. Ты у меня не один, у меня вас семь человек!

– Это я и без вашего наставления понимаю, только по слабости здоровья, как вам самим это известно, заработать, следовательно, не могу. А что вы меня сейчас куском хлеба попрекнули, так за это самое вы перед господом богом отвечать станете...

– Здоровьем слаб!.. Дело у тебя небольшое, знай себе стриги да стриги, а ты и от этого дела бегаешь.

– Какое у меня дело? Разве это дело? Это не дело, а одно только поползновение. И образование мое не такое, чтоб я этим делом мог существовать.

– Неправильно вы рассуждаете, Серапион Косьмич, – говорит дьячок. – Ваше дело почтенное, умственное, потому вы служите в губернском городе, стрижете и бреете людей умственных, благородных. Даже генералы, и те не чуждаются вашего ремесла.

– Про генералов, ежели угодно, я и сам могу вам объяснить.

Фельдшер Иванов слегка выпивши.

– По нашему медицинскому рассуждению, – говорит он, – ты скипидар и больше ничего.

– Мы вашу медицину понимаем... Кто, позвольте вас спросить, в прошлом году пьяного плотника, вместо мертвого тела, чуть не вскрыл? Не проснись он, так вы бы ему живот распо-
роли. А кто касторку вместе с конопляным маслом мешает?

– В медицине без этого нельзя.

– А кто Маланью на тот свет отправил? Вы дали ей слабительного, потом крепительного, а потом опять слабительного, она и не выдержала. Вам не людей лечить, а, извините, собак.

– Маланье царство небесное, – говорит Кузьма Егоров. – Ей царство небесное. Не она деньги взяла, не про нее и разговор... А вот ты скажи... Алене отнес?

– Гм... Алене!.. Постыдились бы хоть при духовенстве и при господине жандарме.

– А вот ты говори: ты взял деньги или не ты?

Староста вылезает из-за стола, зажигает о колено спичку и почтительно подносит ее к трубке жандарма.

– Ффф... – сердится жандарм. – Серы полный нос напустил!

Закурив трубку, жандарм встает из-за стола, подходит к Серапиону и, глядя на него со злобой и в упор, кричит пронзительным голосом:

– Ты кто таков? Ты что же это? Почему так? А? Что же это значит? Почему не отвечаешь? Неповиновение? Чужие деньги брать? Молчать! Отвечай! Говори! Отвечай!

– Ежели...

– Молчать!

– Ежели... Вы потише-с! Ежели... Не боюсь! Много вы об себе понимаете! А вы – дурак, и больше ничего! Ежели папаше хочется меня на растерзание отдать, то я готов... Терзайте! Бейте!

– Молчать! Не ра-а-азговаривать! Знаю твои мысли! Ты вор? Кто таков? Молчать! Перед кем стоишь? Не рассуждать!

– Наказать-с необходимо, – говорит дьячок и вздыхает. – Ежели они не желают облегчить вину свою сознанием, то необходимо, Кузьма Егорыч, посечь. Так я полагаю: необходимо!

– Влепить! – говорит бас Михайло таким низким голосом, что все пугаются.

– В последний раз: ты или нет? – спрашивает Кузьма Егоров.

– Как вам угодно-с... Пушай... Терзайте! Я готов...

– Выпороть! – решает Кузьма Егоров и, побагровев, вылезает из-за стола.

Публика нависает на окна. Расслабленные толпятся у дверей и поднимают головы. Даже баба с переломленным ребром, и та поднимает голову...

– Ложись! – говорит Кузьма Егоров.

Серапион сбрасывает с себя пиджачок, крестится и со смирением ложится на скамью.

– Терзайте, – говорит он.

Кузьма Егоров снимает ремень, некоторое время глядит на публику, как бы выжидая, не поможет ли кто, потом начинает...

– Раз! Два! Три! – считает Михайло низким басом. – Восемь! Девять!

Дьячок стоит в уголку и, опустив глазки, перелистывает книжку...

– Двадцать! Двадцать один!

– Довольно! – говорит Кузьма Егоров.

– Еще-с!.. – шепчет жандарм Фортунатов. – Еще! Еще! Так его!

– Я полагаю: необходимо еще немного! – говорит дьячок, отрываясь от книжки.

– И хоть бы пискнул! – удивляется публика. Больные расступаются, и в комнату, треща накрахмаленными юбками, входит жена Кузьмы Егорова.

– Кузьма! – обращается она к мужу. – Что это у тебя за деньги я нашла в кармане? Это не те, что ты давеча искал?

– Оне самые и есть... Вставай, Серапион! Нашлись деньги! Я положил их вчерась в карман и забыл...

– Еще-с! – бормочет Фортунатов. – Влепить! Так его!

– Нашлись деньги! Вставай!

Серапион поднимается, надевает пиджачок и садится за стол. Продолжительное молчание. Дьячок конфузится и сморкается в платочек.

– Ты извини, – бормочет Кузьма Егоров, обращаясь к сыну. – Ты не того... Черт же его знал, что они найдутся! Извини...

– Ничего-с. Нам не впервой-с... Не беспокойтесь. Я на всякие мучения всегда готов.

– Ты выпей... Перегорит...

Серапион выпивает, поднимает вверх свой синий носик и богатырем выходит из избы. А жандарм Фортунатов долго потом ходит по двору, красный, выпуча глаза, и говорит:

– Еще! Еще! Так его!

1881

Злоумышленник

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в пестрядинной рубаше и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

– Денис Григорьев! – начинает следователь. – Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

– Чаво?

– Так ли все это было, как объясняет Акинфов?

– Знамо, было.

– Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

– Чаво?

– Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

– Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, – хрипит Денис, косясь на потолок.



- Для чего же тебе понадобилась эта гайка?
- Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...
- Кто это – мы?

– Мы, народ... Климовские мужики, то есть.

– Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

– Отродясь не врал, а тут вру... – бормочет Денис, мигая глазами. – Да нешто, ваше благородие, можно без грузила?

Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру... – усмехается Денис. – Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В нашей реке не живет шилишпер... Эта рыба простор любит.

– Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

– Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан...

– Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

– А то что же? Не в бабки ж играть!

– Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь...



– Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не находить... И тяжелая, и дыра есть.

– Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

– Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещенные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй, царица небесная... Что вы-с!

– А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво шурит на следователя глаза.

– Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогда, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!

– Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

– Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...

Денис зеваает и крестит рот.

– В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, – говорит следователь. – Теперь понятно, почему...

– Чего изволите?

– Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов... Я понимаю!

– На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано – мужик, мужицкий и ум... Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.

– Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку... Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

– Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

– Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

– Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

– С каким Митрофаном?

– С Митрофаном Петровым... Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять...

– Послушай... 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье... понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

– Конечно, вы лучше знаете... Мы люди темные... нешто мы понимаем?

– Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

– Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите... Без грузила только уклеюку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

– Ты еще про шилишпера расскажи! – улыбается следователь.

– Шилишпер у нас не водится... Пуцаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

– Ну, молчи...

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

– Мне идтить? – спрашивает Денис после некоторого молчания.

– Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

– То есть, как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить...

– Молчи, не мешай.

– В тюрьму... Было б за что, пошел бы, а то так... здорово живешь... За что? И не крал, кажись, и не дрался... А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не

верьте старосте... Вы господина неперменного члена спросите... Креста на нем нет, на старосте-то...

– Молчи!

– Я и так молчу... – бормочет Денис. – А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой... Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев...

– Ты мне мешаешь... Эй, Семен! – кричит следователь. – Увести его!

– Нас три брата, – бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. – Брат за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести...

1885

Шведская спичка

I

Утром, 6 октября 1885 г., в канцелярию станового пристава 2-го участка С-го уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали и глаза были полны ужаса.

– С кем я имею честь говорить? – спросил его становой.

– Псеков, управляющий Кляузова. Агроном и механик.

Становой и понятые, прибывшие вместе с Псековым на место происшествия, нашли следующее. Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весть о происшествии с быстротой молнии облетела окрестности, и народ, благодаря праздничному дню, стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор. Кое-где попадались бледные, заплаканные физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчал ключ.

– Очевидно, злодеи пробрались к нему через окно, – заметил при осмотре двери Псеков.

Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно глядело мрачно, зловеще. Оно было занавешено зеленой полинялой занавеской. Один угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню.

– Смотрел ли кто-нибудь из вас в окно? – спросил становой.

– Никак нет, ваше высокородие, – сказал садовник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом отставного унтера. – Не до гляденья тут, коли все поджилки трясутся!

– Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! – вздохнул становой, глядя на окно. – Говорил я тебе, что ты плохим кончишь! Говорил я тебе, сердяге, – не слушался! Распутство не доводит до добра!

– Спасибо Ефрему, – сказал Псеков, – без него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здесь что-то не так. Приходит сегодня ко мне утром и говорит: «А отчего это наш барин так долго не просыпается? Целую неделю из спальни не выходит!» Как сказал он мне это, меня точно кто обухом... Мысль сейчас мелькнула... Он не показывался с прошлой субботы, а ведь сегодня воскресенье! Семь дней – шутка сказать!

– Да, бедняга... – вздохнул еще раз становой. – Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царствие ему небесное! Я всего ожидал! Степан, – обратился становой к одному из понятых, – съезди сию минуту ко мне и пошли Андрюшку к исправнику, пушай доложит! Скажи: Марка Иваныча убили! Да забеги к уряднику – чего он там прохлаждается? Пушай сюда едет! А сам ты поезжай, как можно скорее, к следователю Николаю Ермолаичу и скажи ему, чтобы ехал сюда! Постой, я ему письмо напишу.

Становой расставил вокруг флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошел к управляющему пить чай. Минут через десять он сидел на табурете, осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай.

– Вот-с... – говорил он Псекову. – Вот-с... Дворянин, богатый человек... любимец богов, можно сказать, как выразился Пушкин, а что из него вышло? Ничего! Пьянствовал, распутничал и... вот-с!.. убили.

Через два часа прикатил следователь. Николай Ермолаевич Чубиков (так зовут следователя), высокий, плотный старик лет шестидесяти, подвизается на своем поприще уже четверть столетия. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий

свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его неперенный спутник, помощник и письмоводитель Дюковский, высокий молодой человек лет двадцати шести.

– Неужели, господа? – заговорил Чубиков, входя в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки. – Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нет, это невозможно! Не-воз-мож-но!

– Подите же вот... – вздохнул становой.

– Господи ты боже мой! Да ведь я же его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, извините, водку пил!

– Подите же вот... – вздохнул еще раз становой.

Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю.

– Расстudiesь! – крикнул урядник народу.

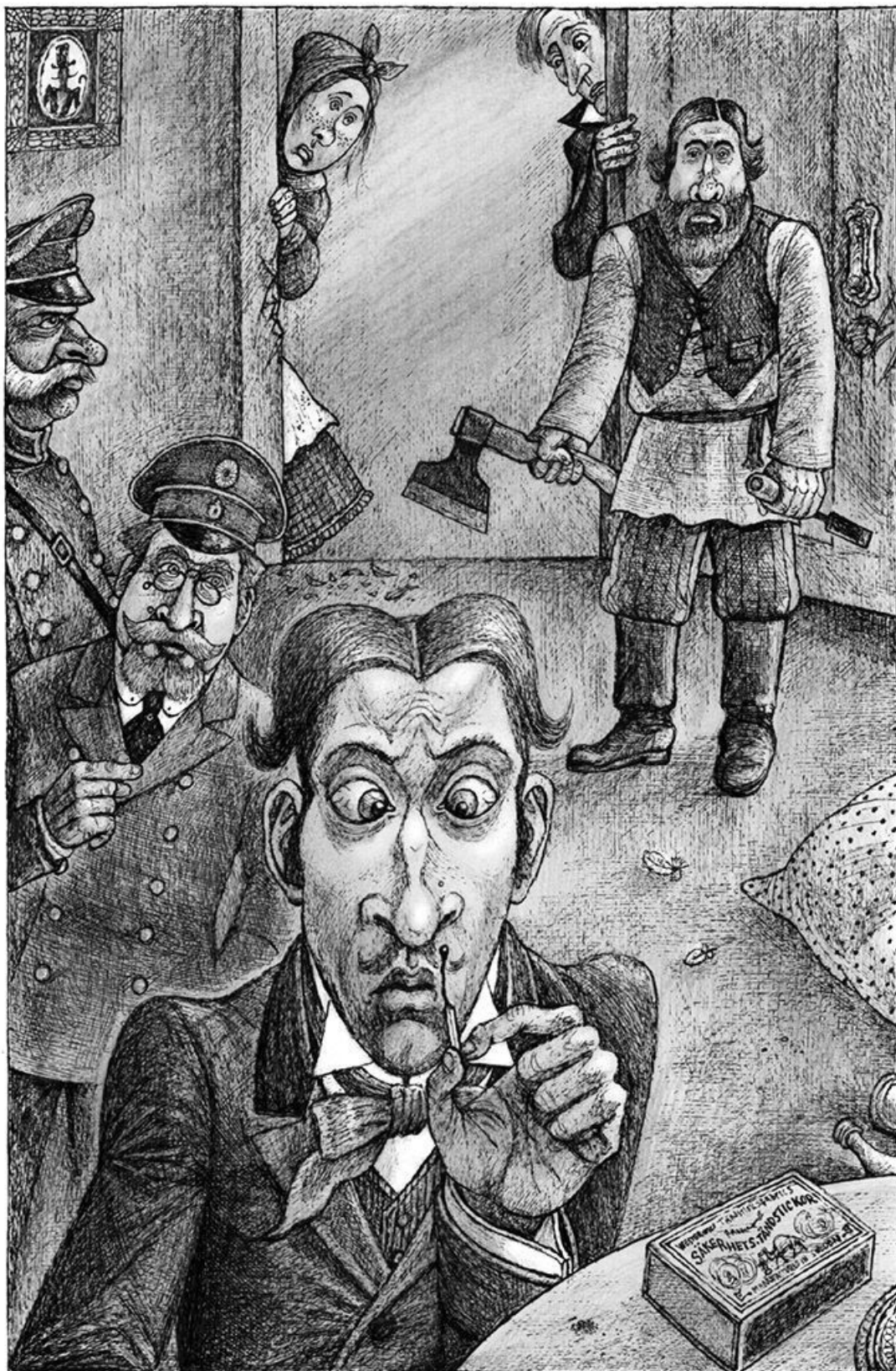
Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновоу, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить какими-либо указаниями, найдено не было. Приступлено было ко взлому.

– Прошу, господа, лишних удалиться! – сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь уступила топору и долоту. – Прошу это в интересах следствия... Урядник, никого не впускать!

Чубиков, его помощник и становой открыли дверь и нерешительно, один за другим, вошли в спальню. Их глазам представилось следующее зрелище. У единственного окна стояла большая деревянная кровать с огромной пуховой периной. На измятой перине лежало скомканное измятое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столике перед кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета двадцатипеечного достоинства. Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, столика и единственного стула, другой мебели в спальне не было. Заглянув под кровать, становой увидел десятка два пустых бутылок, старую соломенную шляпу и четверть водки. Под столиком валялся один сапог, покрытый пылью. Окинув взглядом комнату, следователь нахмурился и покраснел.

– Мерзавцы! – пробормотал он, сжимая кулаки.

– А где же Марк Иваныч? – тихо спросил Дюковский.



– Прошу вас не вмешиваться! – грубо сказал ему Чубиков. – Извольте осмотреть пол! Это второй такой случай в моей практике, Евграф Кузьмич, – обратился он к становому, понизив

голос. – В 1870 году был у меня тоже такой случай. Да вы, наверное, помните... Убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы убили и вытащили труп через окно...

Чубиков подошел к окну, отдернул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось.

– Отворяется, значит, не было заперто... Гм!.. Следы на подоконнике. Видите? Вот след от колена... Кто-то лез оттуда... Нужно будет как следует осмотреть окно.

– На полу ничего особенного не заметно, – сказал Дюковский. – Ни пятен, ни царапин. Нашел одну только обгоревшую шведскую спичку. Вот она! Насколько я помню, Марк Иваныч не курил; в общежитии же он употреблял серные спички, отнюдь же не шведские. Эта спичка может служить уликой...

– Ах... замолчите, пожалуйста! – махнул рукой следователь. – Лезет со своей спичкой! Не терплю горячих голов! Чем спички искать, вы бы лучше постель осмотрели!

По осмотре постели Дюковский отрапортовал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.